
16+
Элли
ЧЭНДЛЕР
ДОМ,
ГДЕ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
Лжи

Элли Чэндлер

Дом, где больше не будет лжи

«Литнет»
2026

Чэндлер Э.

Дом, где больше не будет лжи / Э. Чэндлер — «Литнет», 2026

— Сколько вы хотите? — Денег я не возьму. — Все чего-нибудь хотят. Называйте. — Я хочу замуж. Он моргает. Один раз. — Повторите. — Мне нужен муж. На год. Настоящий штамп, общий адрес, общая фамилия на почтовом ящике. У вас дом, дело и репутация. Рядом с вами меня перестанут называть истеричкой, сбежавшей из семьи. — И вы решили, что я соглашусь. — Я решила, что вы дослушаете. Взамен я прошу год вашей фамилии. — Моей фамилии, — повторяет он медленно. — Вы слышите, как это звучит со стороны? — Слышу. Звучит дико. Мне всё равно. Моего сына целый год воспитывает человек, способный довести взрослую женщину до таблеток одной интонацией. Ване девять лет. И он уже перестал звонить мне по средам.В тексте есть: ❤#брак по договору ❤#бывший муж-манипулятор ❤#властный ресторатор ❤#ХЭ тем, кто выстоял!

© Чэндлер Э., 2026
© Литнет, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 10
Глава 3 14
Глава 4 19
Глава 5 24
Глава 6 28
Глава 7 32
Глава 8 36
Глава 9 40
Глава 10 44
Глава 11 48
Глава 12 52
Глава 13 56
Конец ознакомительного фрагмента. 57

Глава 1

— Девушка, вы из какого зала?

Администратор перехватывает меня у служебной лестницы, и поднос в моих руках вздрагивает. Шесть бокалов звенят друг о друга тонко и зло, на всю кухню.

— Из малого. — Я поворачиваю бейдж к лампе, чтобы она прочитала имя. — Кристина. Меня прислали на замену, ваша девочка свалилась с температурой.

— Кристина, значит. — Она скользит взглядом по моей блузке. Блузка соседская, рукава подвёрнуты дважды, верхняя пуговица держится на одной нитке. — Ты чего такая зелёная? Тебя мутит?

— Нервничаю. На закрытых вечерах я ещё ни разу не стояла с подносом.

— Нервничай молча. Станислав Игоревич суеты не выносит, у него на неё аллергия. Шампанское в малый, пустые бокалы собрать и сразу ко мне. Наверх не соваться, там кабинеты.

— Поняла.

— Повтори.

— Наверх не соваться.

Она кивает и уплывает к раздаче, на ходу отчитывая повара за пересоленный соус. Я считаю шаги до малого зала. Четырнадцать. На девятом пахнет печёными яблоками и розмарином, на двенадцатом — дорогими духами и чужим благополучием. В зале чокаются, мужчина в бабочке поднимает бокал «за новую студию, где дети пекут вместе с родителями». Я оставляю поднос на краю стола и пячусь к двери с улыбкой, натянутой до ушей.

Красная папка прижата к животу резинкой юбки. Углы картона колют кожу при каждом вдохе.

Наверх ведут двадцать две ступени. Я знаю их число заранее: три вечера подряд стояла под дождём у служебного входа и слушала, как курьеры проклинают эту лестницу.

На площадке горит одно бра. Дверь кабинета распахивается мне навстречу, я едва успеваю прилипнуть к стене. Выходит женщина в очках, с пачкой бумаг под мышкой, говорит в телефон:

— Оставила ему на столе, пусть подпишет до утра. Нет, он внизу, гостей развлекает. Да кого он развлекает, стоит со стаканом воды и всех пугает.

Дверь за ней не защёлкивается. Язычок замка упирается в косяк, остаётся щель шириной в палец.

Я вхожу.

В кабинете пахнет кофе, кожей и горькой апельсиновой цедрой. На столе две стопки счетов, выровненные угол к углу. Ручка лежит параллельно краю столешницы. Хозяин этого стола замечает каждую соринку. Я поднимаю половину стопки, кладу папку в середину и опускаю бумаги обратно. Красный край выглядывает на сантиметр. Я загоняю его внутрь ногтем.

Пальцы трясутся. Я провожу ими по зелёному сукну столешницы, по шершавому ворсу, раз, другой, третий, пока дрожь не уходит в ладонь и не затихает там.

— Вы ищете уборную или сейф?

Голос звучит из угла. Низкий, ровный, с ленивой хрипотцой.

Я разворачиваюсь так резко, что чужой бейдж хлопает меня по груди.

Он стоит у окна, в полутени. Высокий, в тёмном костюме, седина в тёмных волосах. В руке стакан с водой. Свет фонаря с улицы падает на его кисть, и я вижу белые полосы старых шрамов на тыльной стороне ладони. Ожоги. Порезы. Руки повара у человека в костюме ценой в мою годовую зарплату.

— Станислав Игоревич, — говорю я.

— Вы знаете моё имя. Ваше мне неизвестно. — Он смотрит на бейдж. — Кристина работает у меня третий год, ей двадцать четыре, и глаза у неё карие.

— Кристина простыла. Я взяла её бейдж.

— Украли.

— Одолжила. Она в курсе. Я ей заплатила.

— Сколько?

— Три тысячи.

— Дёшево же вы оцениваете мою охрану. — Он ставит стакан на подоконник, донышко стукает о мрамор. — Что вы спрятали в счетах?

Врать глупо. Он стоял здесь всё это время. Смотрел, как я перекладываю его бумаги, и молчал.

— Почему вы сразу меня не окликнули?

— Хотел понять, воровка вы или почтальон. Воровки берут. Вы положили. Вернёмся к моему вопросу.

— Папку. Красную. Внутри флешка и листок с моим номером.

— Кому адресована посылка?

— Вам.

Он подходит к столу, обходя меня по широкой дуге, оставляя между нами добрый метр. Вытягивает папку двумя пальцами и держит её на весу, разглядывая.

— Красная, — произносит он. — Зачем нести мне это посреди приёма, в чужой блузке, под чужим именем? Днём в мой офис заходят через дверь.

— Днём меня к вам не пускают. Я звонила одиннадцать раз. Ваш секретарь отвечала, что Станислав Игоревич не принимает частных лиц по личным вопросам.

— Правильно отвечала.

— Мой вопрос касается Эдуарда Сосновского. Он давно перестал быть личным.

Лицо у него остаётся прежним. Только пальцы на папке сжимаются, и картон прогибается с тихим хрустом.

— Я знаю, кто такой Сосновский.

— Я его бывшая жена. Ольга Крупина.

— Поздравляю с разводом.

— Спасибо. Развод обошёлся мне в сына.

Внизу кто-то хохочет, звенит разбитое стекло, администратор ахает на весь первый этаж. Он даже головы не поворачивает. Открывает папку, вытряхивает на ладонь флешку, вертит её в пальцах.

— Что здесь?

— Записи. Сорок две штуки. Из центра «Гармония». Сессии, разговоры в его кабинете. Его голос. Как он разговаривает с женщинами, когда уверен, что дверь закрыта и никто не слышит.

— Откуда они у вас?

— Мне их отдали.

— Кто?

— Этого я не скажу.

— Тогда я не стану их слушать.

— Станете. — Голос у меня дрожит, и я вдавливаю ногти в ладонь. — Вы второй год ищете на него хоть что-нибудь. Ваши юристы запрашивали документы центра. Ваш человек ходил на его семинар под чужой фамилией и сидел в третьем ряду. Эдуард рассказывал об этом за ужином и смеялся. Говорил: «Ремезов роет носом, а у меня там бетон».

— Почему я? — спрашивает он. — В городе десяток людей, готовых сплясать на его репутации. Журналисты. Конкуренты. Брошенные клиентки.

— Журналистам он платит щедрее всех. Конкуренты боятся: у него на семейных консультациях сидит половина городской администрации со своими жёнами. Клиентки молчат, он убедил каждую, что ей всё померещилось. — Я сглатываю. — А вы единственный, о ком он говорит с раздражением. Обо всех остальных он говорит с жалостью. Жалеет он тех, кого уже съел. Злится на тех, кто ему не по зубам.

— Лестно.

— Это наблюдение. Я двенадцать лет слушала, как он говорит о людях за ужином. Научилась различать оттенки.

— И что он говорит обо мне?

— Что вы повар, научившийся носить костюм. Что вы умеете считать деньги и разучились чувствовать. Что вы спите с выручкой под подушкой.

— Под подушкой у меня кулинарный термометр, я его вечно забываю на кухне, — сухо отвечает он. — Выручка в банке. Дальше.

— Дальше он смеётся. Он всегда смеётся, когда ему страшно.

Он поднимает на меня глаза. Серые, почти стальные при этом свете. Смотрит долго, и мне хочется отступить к двери, отсчитывая шаги назад.

— Сколько вы хотите за свой отбойный молоток?

— Денег я не возьму.

— Все чего-нибудь хотят. Называйте.

— Я хочу замуж.

Он моргает. Один раз.

— Повторите.

— Мне нужен муж. На год. Настоящий штамп, общий адрес, общая фамилия на почтовом ящике. Комиссия по опеке смотрит на жильё, на доход, на семью. У меня комната в квартире матери, подработки и фотографии у фонтана, на них я сама себя не узнаю. У вас дом, дело и репутация, к ней ни одна собака не придерётся. Рядом с вами меня перестанут называть истеричкой, сбежавшей из семьи.

— И вы решили, что я соглашусь.

— Я решила, что вы дослушаете. Флешка ваша в любом случае, у меня копия. Взамен я прошу год вашей фамилии.

— Моей фамилии, — повторяет он медленно, пробуя слова на вкус. — Вы слышите, как это звучит со стороны?

— Слышу. Звучит дико. Мне тридцать восемь, я учила детей рисовать акварелью, и вот я делаю предложение незнакомому мужчине на его собственном празднике. Мне всё равно, как это звучит. Моего сына целый год воспитывает человек, способный довести взрослую женщину до таблеток одной интонацией. Ване девять лет. Он перестал звонить мне по средам.

— Почему по средам?

— Потому что среда была нашим днём. Мы рисовали.

Он молчит. Потом обходит стол, садится, открывает ноутбук и вставляет флешку в порт.

— Какую включить?

— Любую.

— Вы назвали точную цифру. Сорок две. Значит, вы слушали их все. Выбирайте.

Я подхожу ближе. Он остаётся на месте, и я оказываюсь у его плеча, так близко, что чувствую тепло его тела сквозь шерсть пиджака. От него пахнет водой, цедрой и дымом с кухни, въевшимся в кожу пальцев.

— Девятнадцатую.

Он кликает.

Кабинет заполняет голос Эдуарда. Мягкий, бархатный, с ласковыми паузами в нужных местах. «Леночка, вы опять всё перепутали. Не было такого разговора, вы устали, вы плохо

спите, вот вам и мерещится. Я же для вашей пользы говорю. Кто ещё скажет вам правду? Муж? Подруги? Они вас жалеют. А я вас лечу». Женщина на записи всхлипывает и соглашается. Говорит: «Да. Наверное. Простите меня».

Он ставит паузу на слове «простите».

На скуле у него перекатывается желвак. Пальцы лежат на тачпаде неподвижно, и шрамы на них белеют.

— Она одна из многих, — говорю я тихо. — И последней она тоже не станет.

— Я знаю.

Он произносит это так глухо, что у меня перехватывает горло. Он знает. И знание это пришло к нему от живого человека, с лицом и именем.

— Станислав Игоревич...

— Помолчите минуту.

Он вынимает флешку, кладёт её в папку, папку убирает во внутренний карман пиджака. Ткань натягивается на груди, обрисовывая плечо.

— Вы сейчас позовёте охрану? — спрашиваю я.

— А должен?

— Я проникла в ваш кабинет по чужому бейджу.

— Вы принесли мне подарок и сделали предложение руки. За такое охрану не зовут. За такое... — Он обрывает фразу и окидывает меня взглядом снизу вверх, от туфель, жмущих в подъёме, до подвёрнутых рукавов. — Как вы сюда добрались?

— На автобусе.

— Обратно тоже собирались на автобусе?

— На последнем. Он уходит в одиннадцать.

— Вы на него уже опоздали. Сейчас десять сорок, до остановки двадцать минут пешком, а вы хромаете на левую ногу.

— Туфли малы.

— Тоже Кристинины?

— Мои. Я в них выпускной у своих пятиклашек вела.

Уголок его рта дёргается. Тень улыбки, мелькнувшая и сразу спрятанная.

— Значит, вас отвезёт мой водитель.

— Мне не нужно...

— Вам нужно, чтобы я вам поверил. Женщина с вывихнутой лодыжкой в моём переулке посреди ночи вызывает у меня гораздо меньше доверия. — Он берёт телефон, набирает номер. — Паша, к служебному. Отвезёшь даму, куда скажет. До подъезда. И подождёшь, пока зайдёт.

Он кладёт трубку экраном вниз.

— Это значит «да»? — спрашиваю я.

— Это значит, что я хочу послушать оставшиеся сорок одну.

— А брак?

— Брак — это бумаги, юристы, ЗАГС и ваша мать, задающая мне неудобные вопросы над тарелкой супа. Вы правда к такому готовы?

— Я готова ко всему.

— Ко всему готовы только дураки и камикадзе. Вас я к ним не отношу.

— Тогда я готова к вам.

Он смотрит на меня ещё секунду. Потом встаёт, идёт к двери и открывает её, придерживая ладонью. Он оставляет мне узкий проход, полметра, и протискиваться приходится боком. Плечом я задеваю лацкан его пиджака. Он не отстраняется, и я слышу, как он вдыхает, когда мои волосы скользят у его подбородка.

— Ольга Валерьевна.

Я замираю на пороге, занеся ногу над первой ступенькой.

Отчества я ему не называла.

— Завтра в девять, — говорит он мне в затылок. — Паша заберёт вас в половине девятого от того же подъезда. Возьмите паспорт. — Короткая пауза. — Мой адвокат терпеть не может опаздывающих невест.

Глава 2

Телефон вспыхивает на подушке в семь ноль две, и имя на экране режет глаза.

«Эдик».

Я так и не переименовала контакт. Год собираюсь. Палец каждый раз зависает над кнопкой и соскальзывает, потому что «Эдик» остался из той жизни, где он целовал меня в макушку и называл Оленёнком.

Вокруг меня на одеяле веером лежат фотографии. Я раскладывала их всю ночь, как пасьянс, и пасьянс не сходился. Ваня в три года, в шапке с помпоном до колен. Ваня в шесть, с разбитой коленкой и гордым лицом. Ваня в восемь, на последнем снимке, сделанном мной: он рисует дом, у дома четыре окна, и во всех окнах люди держатся за руки.

Телефон гудит, ползёт по подушке и упирается мне в бедро.

Я беру.

— Доброе утро, Оля. — Голос мягкий, сонный, домашний. Так он говорил со мной по утрам двенадцать лет. — Разбудил?

— Нет.

— Конечно. Ты же не спала. Ты никогда не спишь, когда натворишь глупостей.

— Что тебе нужно, Эдуард?

— Мне? Мне ничего. Я за тебя волнуюсь. — Пауза, шорох, звон ложки о фарфор. Он пьёт кофе. На нашей кухне, из моей синей чашки с отбитой ручкой. — Мне прислали фотографию. Официантка в ресторане «Тёплый дом». Бейдж «Кристина», блузка на три размера больше. Удивительно похожа на мою бывшую жену. Скажи, Оля, мне показалось?

Я сжимаю край одеяла, ногти проходят сквозь пододеяльник.

— Кто прислал?

— Добрые люди. У меня много благодарных клиентов, они ходят по хорошим ресторанам. Так это ты?

— Тебя это не касается.

— Меня касается всё, связанное с матерью моего сына. — Он вздыхает, длинно и сочувственно. — Оленька. Ты взрослая женщина. Разносить шампанское у Ремезова, потом карабкаться к нему на второй этаж... Что ты ему продаёшь? Себя? Так он не купит, я узнавал. Он брезгливый.

— Я ничего не продаю.

— Тогда зачем? Сколько ему лет?

— Сорок два.

— Женат?

— Был. Сейчас нет. Детей нет. Это я знаю из интервью, он их почти не даёт.

— Ты читала его интервью.

— Я читала про него всё, что нашла. Два месяца. По ночам, пока ты спала.

— Я не спала, — говорит мама. — Я слышала, как ты щёлкаешь мышкой. Думала, ты ищешь работу.

— Я и искала. В каком-то смысле.

— И какой он? В этих твоих интервью.

— Скупой на слова. Готовит сам. Открыл студию для детей из интернатов, учит их даром и запретил об этом писать. Один журналист всё равно написал, он с ним больше не разговаривает.

— Гордый, значит.

— Наверное.

— Гордые мужчины плохо переносят, когда их используют, Оля.

— Я его не использую. Мы используем друг друга. Это честнее.

— Честнее, — повторяет мама и качает головой. — Ох, девочка. Тогда зачем это всё? — Щёлкает застёжка браслета: он поправляет часы, я узнаю этот звук сквозь трубку, тот же щелчок двенадцать лет подряд. — Хочешь, скажу, как это выглядит со стороны? Женщина, потерявшая ребёнка по суду, бегает за чужими мужиками в чужих тряпках. Комиссия будет в восторге. Ты опозоришься, Оля. Ты уже опозорилась. Я просто пытаюсь тебя остановить, пока ты не сделала себе хуже.

— Ваня проснулся?

— Ваня спит. Не меняй тему.

— Дай ему трубку, когда проснётся.

— Нет.

— Сегодня вторник. Я имею право на звонок по вторникам и пятницам.

— Ты имеешь право на звонок в присутствии психолога. Психолог — я. И я считаю, сейчас разговор с тобой ему навредит. Он плохо засыпал вчера. Плакал. Спрашивал, почему мама его разлюбила.

Это ложь. Я знаю, что это ложь. Знаю той частью головы, где живут цифры и шаги. Но другая часть, в груди, сжимается в кулак и колотит меня изнутри по рёбрам.

— Он такого не спрашивал.

— Спрашивал. Ты просто отказываешься это слышать. Я же для твоей пользы, Оль. Отойди в сторону, пока ещё можно. Сиди у мамы, рисуй открыточки, ходи на свои подработки. Будешь вести себя хорошо, я отпущу его к тебе на Новый год. На два дня.

— На два дня.

— Это щедро. Подумай.

Он отключается первым. Он всегда отключается первым.

Я сижу с телефоном в руке и считаю до ста. На сорок третьем в дверь стучат.

— Оля. Ты одета?

— Да, мам.

Мама входит с подносом. На подносе чашка чая, два бутерброда с сыром, нарезанные под линеечку, и таблетка валерьянки на блюдце. Серый халат, волосы собраны в пучок, очки висят на цепочке. Шестьдесят три года, из них почти сорок в районной библиотеке, и спину она до сих пор держит ровнее любой балерины.

— Я слышала, — говорит она, ставя поднос на тумбочку. — Стены тонкие.

— Он знает, где я была вчера вечером.

— Эдуард всегда всё знает. Он этим живёт, как другие живут зарплатой. — Она садится на край кровати, берёт фотографию Вани в шапке с помпоном и разглаживает загнутый уголок. — Ешь.

— Не хочу.

— Я не спрашивала, хочешь ли ты. Я сказала: ешь.

Я беру бутерброд. Сыр пахнет холодильником. Мама смотрит, как я откусываю, и удовлетворённо кивает.

— Куда ты собралась в половине девятого?

— Откуда ты знаешь про половину девятого?

— Ты поставила будильник на семь сорок и погладила синее платье. Синее ты надеваешь, когда идёшь туда, где тебя станут оценивать. На собеседование. В суд. На родительское собрание к Ваниной классной. — Она поправляет очки на переносице. — Так куда?

Я молчу. Жую. Мама ждёт. Ждать она умеет, как никто: у неё в библиотеке школьники сами приносили просроченные книги, потому что не выдерживали её молчания у стойки.

— Замуж, — говорю я.

Фотография остаётся у мамы в пальцах. Она кладёт её на одеяло, ровно, к остальным.

— За кого?

— За Ремезова. Станислава Игоревича. У него семейные кафе и кулинарные студии. Эдуарда он ненавидит.

— Ты его любишь?

— Я его вчера увидела.

— Тогда зачем?

— Затем, что Ване нужна мать с нормальным адресом и мужем. Раскладушка в твоей комнате комиссию не убедит. Затем, что одна я не вытяну. Мне нужен рядом человек с весом. При нём меня станут слушать.

Мама долго молчит. Потом снимает очки, протирает стёкла полой халата и надевает обратно.

— Я терпела твоего отца двадцать лет, — говорит она. — Ради тебя. Ради квартиры. Ради того, чтобы соседи не шептались на лавочке. Двадцать лет я улыбалась и говорила, что у нас всё хорошо. И знаешь, чему я тебя этим научила? Терпеть. Ты у меня отличница по терпению, Оля. С золотой медалью.

— Мама...

— Дай договорить. — Она берёт мою руку. Сухие пальцы пахнут книжной пылью и кремом с ромашкой. — Ты от Эдуарда ушла. Я от твоего отца не ушла. Выходит, ты уже смелее меня. Так что иди. Выходи хоть за лешего. Только не сдавайся. Слышишь? Не смей сдаваться на полдороге, как я.

В носу щиплет. Я опускаю глаза на её руку: обручальное кольцо она так и не сняла.

— А если он окажется хуже Эдуарда?

— Хуже Эдуарда бывают только в романах, а романы я прочитала все до одного. — Она встаёт, затягивает пояс халата. — И ещё. Если Эдуард начнёт говорить тебе про меня, не верь ни единому слову.

— Зачем ему говорить про тебя?

— Затем, что он всегда находит, за какую ниточку дёрнуть. — Мама отворачивается к окну. — Ешь второй бутерброд. Платье я переглажу, ты помяла подол, пока сидела на нём всю ночь.

Она уходит с платьем на сгибе локтя. Из кухни доносится скрип гладильной доски, потом звонок. Мамин старый кнопочный телефон пиликает свою единственную мелодию, и мама сбрасывает вызов на втором такте. Через минуту он звонит снова. Снова сброс.

— Кто там? — кричу я.

— Реклама. Окна предлагают пластиковые.

— В восьмом часу утра?

— У них план. Иди умывайся.

Я умываюсь. Считаю шаги от ванной до своей комнаты: восемь. До прихожей: одиннадцать. Достаю из ящика паспорт и кладу его в сумку, в боковой карман, к красному блокноту. В блокноте последняя запись сделана вчера ночью, в машине у Паши, дрожащим почерком: «Он знает моё отчество. Почему?»

Мама выносит синее платье, ещё тёплое от утюга. Помогает мне застегнуть молнию на спине, и пальцы у неё на секунду задерживаются у меня между лопаток.

— Похудела, — говорит она. — Платье висит.

— Оно всегда висело.

— Неправда. Раньше ты в нём выглядела учительницей. Сейчас выглядишь вдовой.

— Спасибо, мам.

— Пожалуйста. Губы накрась. Мужчины верят женщинам с накрашенными губами, это проверено на твоём отце и на заведующем районо.

Я смеюсь. Хрипло, коротко, сама себе удивляясь, и тут же зажимаю рот ладонью. Мама протягивает мне помаду, свою, вишнёвую, с облезлым золотым колпачком.

— Возьми. Вернёшь, когда выиграешь.

— А если проиграю?

— Тогда оставь себе. В проигрыше тоже надо выглядеть прилично.

Восемь двадцать две. Я стою в прихожей в синем платье, в маминой помаде и в тех же туфлях, натёрших мне вчера мозоль. Внизу, во дворе, у мусорных баков, уже стоит чёрная машина. Паша курит у водительской двери и смотрит на наши окна.

— Иди, — говорит мама. — И позвони, когда сможешь говорить.

— Ты точно в порядке? Эти твои пластиковые окна...

— Ольга. Иди.

— Мам, если он позвонит тебе... Эдуард. Если начнёт говорить, что я сошла с ума, что я опасна для Вани...

— Я повешу трубку.

— Обещаешь?

— Я тридцать восемь лет твоя мать. Я помню, как ты в четыре года рисовала мне открытки на обоях фломастером, и как в шестнадцать сбежала на концерт через окно, и как в двадцать пять плакала у меня на кухне перед свадьбой. Ты плакала, Оля. А я сказала: «Это нервы, все невесты плачут». — Она поправляет мне воротник. — Больше я так не скажу. Иди.

Я берусь за ручку двери.

Телефон в сумке вздрагивает. Одно короткое сообщение. Номер незнакомый.

Я открываю.

Фотография. Кухня, светлая, чужая. Белые шкафчики, ваза с жёлтыми тюльпанами. За столом сидит Ваня, в новой синей кофте с капюшоном, руки в карманах, плечи подняты к ушам. Рядом с ним женщина. Тёмные волосы до плеч, шёлковый халат цвета топлёного молока. Она наклонилась к Ване и целует его в висок, а он смотрит в камеру. Прямо на меня. Взгляд у него пустой и ровный, так смотрят дети на школьном фотографе: велели улыбаться, а улыбка не получилась.

Под фотографией одна строчка.

«У него уже есть мама».

Глава 3

POV: Станислав

— Вы хотите жениться на женщине, проигравшей суд по опеке, и рассчитываете, что ваш главный враг узнает об этом последним. — Майя бросает на мой стол папку, и та проезжает по столешнице до самой чашки с кофе. — Я правильно расшифровала ваше голосовое в половине двенадцатого ночи?

— Правильно.

— Тогда поздравляю. Это самое тупое решение за все семь лет нашего знакомства. А я видела, как вы покупали ресторан на Озёрной, где крысы ходили строем.

Восемь сорок семь. Я встал в пять, приготовил омлет с зеленью, съел половину, вторую отдал соседскому коту через забор. Дважды проверил замок на входной двери, потом гаражный, потом снова входной. Отец говорил: кто не проверяет замки, тот однажды найдёт дом пустым. Отец много чего говорил. Запомнилось мне только про замки.

— Сядьте, Майя Львовна.

— Постою. Стоя мне лучше видно ваше лицо. — Она поправляет чёлку, ровную, острую, срезанную по линейке. — Давайте по пунктам. Фиктивный брак признают недействительным за одно заседание. Хватит одного свидетеля, одной переписки, одной фотографии, где вы спите в разных комнатах. Сосновский наймёт людей, и они будут караулить ваши окна с биноклем. Если правда вылезет, она теряет сына навсегда, а вы становитесь человеком, купившим себе жену ради мести. Пресса вас сожрёт и косточки оближет.

— Значит, правда не вылезет.

— Вы видели эту женщину один раз.

— Мне хватило.

— Вам хватило флешки. — Майя наклоняется, упирается ладонями в край стола. — Я прослушала ночью три записи, пока вы спали. Записи хорошие. Очень. Но эта женщина пришла к вам в чужой одежде и стащила бейдж. Что она стащит завтра? Ваши часы? Ваш сейф? Вашу печень?

— За бейдж она заплатила.

— Господи. Вы её уже защищаете.

Я молчу и смотрю на папку. Проект брачного договора, двенадцать страниц. Майя пишет быстро, когда злится.

— Раздельное имущество, — говорит она, проследив мой взгляд. — Срок год, продление по взаимному согласию. Никаких претензий на бизнес, на дом, на счета. Конфиденциальность. Компенсация при досрочном расторжении по её вине — ноль. По вашей — на ваше усмотрение. Я оставила прочерк.

— Впишите три миллиона.

— Вы рехнулись.

— Впишите.

Майя выпрямляется и разглядывает меня долго, склонив голову к плечу, как разглядывают пятно на дорогой скатерти.

— Это из-за Алины, — говорит она. Утвердительно.

— Это из-за Сосновского.

— У вас это одно и то же, Станислав Игоревич. Я стояла рядом, когда вы забирали её из той квартиры.

Я помню. Три года назад, ноябрь, мокрый снег на ботинках. Алина сидела на полу в прихожей, натянув рукава свитера на пальцы, и повторяла одно и то же: «Эдуард Платонович

говорит, я сама всё разрушила. Он говорит, я разучилась любить». Её муж к тому времени уже вынес коробки. Я стоял над ней и не знал, куда деть руки. Целый год я видел, как сестра бледнеет, худеет, отвечает невпопад, и списывал это на работу. На усталость. На её дурной характер. Я был занят. Открывал третью студию.

— Майя Львовна, вы со мной или против меня?

— Я с вами, пока вы мне платите. Против вас я буду, если вы попросите меня врать в суде. — Она садится наконец, закидывает ногу на ногу. — Врать я не стану. Учтите. Даже за тридцать миллионов.

— Я учту.

Селектор щёлкает.

— Станислав Игоревич, к вам Крупина. Говорит, ей назначено на девять.

Восемь пятьдесят девять.

— Пусть войдёт.

Она входит, и Майя присвистывает себе под нос, тихо, для меня одного.

Синее платье. Оно ей велико в плечах, ткань провисает у ключиц, и сквозь эту провисшую ткань видно тонкую косточку под горлом. Светлые волосы собраны в низкий хвост, у висков седые прядки, она их даже прятать не пытается. Губы накрашены вишнёвым, слишком ярким для её бледного лица, и от этой помады она кажется девчонкой, укравшей мамину косметику. Сумку она держит обеими руками перед собой, щитом.

— Доброе утро, — говорит она.

— Садитесь, Ольга Валерьевна. Это Майя Львовна Дроздова, мой адвокат.

— Ваш и, если повезёт, её, — уточняет Майя. — Хотя везением я бы это не назвала. Садитесь, садитесь. Не бойтесь, я кусаюсь только по пятницам.

Ольга садится на край кресла. Пальцы ложатся на подлокотник, обтянутый замшей, и начинают гладить ворс. Туда и обратно. Туда и обратно. Я смотрю на её пальцы и вспоминаю, как вчера она так же гладила сукно на моём столе.

— Вопросы буду задавать я, — говорит Майя. — Отвечать быстро и честно. Если соврёте, я узнаю, и тогда мы с вами расстанемся. Вы спали с Сосновским после развода?

Ольга даже не моргает.

— Нет.

— Он вас бил?

— Нет.

— Почему тогда вы ушли?

— Потому что он объяснял мне, что я схожу с ума, и я начала ему верить. Однажды утром я забыла, выключила ли плиту, и пошла проверять в четвёртый раз. Ваня стоял в коридоре и смотрел на меня глазами Эдуарда. Я взяла сына и ушла в тот же день.

— А фотографии у фонтана?

— Подделка.

— Доказательства?

— Пока ищу.

— Плохо ищете, раз суд вам не поверил. — Майя что-то пишет в блокноте. — Деньги у вас есть?

— Сорок тысяч на карте и мамина пенсия.

— Работа?

— Подменяю в художественной студии по субботам. Расписываю стены в детских садах, если зовут.

— Вы понимаете, что этот брак могут назвать фиктивным и разорвать в клочья?

— Понимаю.

— И вам не страшно?

— Мне страшно с прошлой осени. Я привыкла.

Майя откладывает ручку и смотрит на Ольгу с интересом, оценивающе, как смотрит на свидетеля, способного выдержать перекрёстный допрос.

— Последний вопрос. Если Сосновский предложит вам сына в обмен на эту флешку, вы отдадите?

Ольга молчит. Пальцы на замше останавливаются.

— Отдам, — говорит она. — Если буду уверена, что он сдержит слово. Он никогда его не держит. Поэтому я здесь.

— Честно, — кивает Майя. — Мне нравится. Станиславу Игоревичу вряд ли, но мне — да.

Меня коробит, как легко она произносит «отдам». И подкупает, что она не стала притворяться святой. Я наливаю воды из графина, ставлю стакан перед ней. Она смотрит на стакан, потом на меня.

— У меня есть условия, — говорит она.

— Слушаю.

— Первое. Вы никогда не попытаетесь отнять у меня Ваню. Судом, деньгами, подарками, обаянием — никак. Он мой сын. Вы для него будете взрослым из маминого нового дома. Всё.

— Принято.

— Второе. Вы не будете ему врать. Можно говорить ему не всё. Врать — нельзя. Его отец врёт ему с утра до ночи, и мальчик уже путается, где правда. Если он спросит вас о чём-то, на что нельзя отвечать, скажите «я не могу ответить». Он поймёт. Он умный.

— А если он спросит, люблю ли я его мать?

Она краснеет. Медленно, от шеи вверх, и вишнёвая помада вдруг перестаёт казаться слишком яркой.

— Тогда скажете «я не могу ответить».

— Принято. Теперь мои.

— Слушаю.

— Вы переезжаете ко мне в четверг. Отдельная спальня, ключи, свой ящик в ванной. Ужинаем вместе, в восемь, каждый день, даже если у вас нет аппетита. Сосновскому вы не звоните и не отвечаете. Всё общение с ним через меня или через Майю Львовну. Журналистам ни слова. На публике вы держите меня под руку и смотрите на меня с удовольствием.

Майя приподнимает бровь. Я слышу, как глупо это прозвучало, уже после того, как сказал.

— С удовольствием? — переспрашивает Ольга.

— С симпатией. Как на мужчину, вызывающего у вас интерес.

— Это сложно.

— Почему?

— Потому что вы смотрите на меня как на сломанный кассовый аппарат.

Майя фыркает в ладонь. Я откидываюсь на спинку кресла и чувствую, как у меня дёргается щека.

— Хорошо, — говорю я. — Я поработаю над взглядом. Вы — над симпатией.

— А звонки Ване? Если он позвонит сам, с отцовского телефона?

— Обсудим в четверг.

— Обсудим сейчас.

— В четверг, Ольга Валерьевна. На моей кухне. За ужином в восемь.

Она поджимает губы, и я вижу, как ей хочется спорить, как это желание проходит у неё по горлу и застревает. Она проглатывает его. Кивает.

— Тогда последнее, — говорит Майя и стучит ручкой по блокноту. — Легенда. Где вы познакомились?

— На его вечере, — отвечает Ольга. — Это правда.

— Правда слишком короткая. Через неделю брак. Комиссия спросит: откуда такая спешка? Что вы ответите?

Ольга поворачивается ко мне. Я вижу, как она ищет в моём лице подсказку, и мне вдруг хочется её дать.

— Скажем, что знакомы полгода, — говорю я. — Она расписывала стену в детском саду, где моя студия проводит мастер-классы. Я пришёл забрать повара, увидел её на стремянке с кистью в зубах.

— Вы это сейчас выдумали? — спрашивает Ольга.

— Сейчас.

— У меня правда есть роспись в детском саду на Береговой. Жираф и воздушные шары.

— Значит, я видел жирафа. Он мне понравился. Особенно шея.

Майя закатывает глаза так, что видны одни белки.

— Боже, дай мне сил. Ладно. Полгода тайных встреч, вы скрывали отношения из-за суда. Учите детали. Любимый цвет, аллергии, на каком боку спите. Я буду проверять каждого по отдельности, как на допросе.

— У меня аллергия на цитрусовые, — говорит Ольга.

— Тогда вам придётся перестать меня нюхать, — отвечаю я. — От меня всегда пахнет апельсином. Я добавляю цедру во всё подряд.

Она краснеет снова, второй раз за утро, и опускает глаза на свои руки.

— Я вас не нюхала.

— Вчера, у ноутбука. Вы вдохнули и задержали дыхание.

— Я задержала дыхание, потому что слушала голос бывшего мужа.

— Хорошая версия. Запишите её, Майя Львовна, для комиссии.

— Документы по ЗАГСу беру на себя, — говорит Майя, вставая. — Регистрация через неделю, в понедельник. Только вы, он, регистратор и ручка. Платье можете надеть это. Оно трагичное, судьям понравится.

— Спасибо, — сухо отвечает Ольга.

— Я вас провожу, — говорю я.

Майя остаётся в кабинете с моим кофе. Мы выходим в коридор. Ольга идёт рядом, и я замечаю, как шевелятся её губы. Она считает шаги. Одними губами, на каждый шаг одно слово. Я сбавляю ход, подстраиваясь под её счёт.

— Сколько до лифта? — спрашиваю.

Она вздрагивает.

— Тридцать четыре. Откуда вы...

— Губы двигаются. Вы вчера на лестнице тоже считали, я слышал через дверь.

— Это привычка.

— Хорошая. Счёт успокаивает. Я в детстве считал банки на полках у матери в кладовке, когда отец орал на кухне.

Я сам не понимаю, зачем ей это говорю. Она поворачивает голову, смотрит на меня снизу вверх, и в её серо-голубых глазах что-то смягчается на долю секунды. Потом снова закрывается.

В приёмной у стойки секретаря стоит женщина. Рыжеватые волосы стянуты в небрежный пучок, бежевое пальто нараспашку, в руках пластиковый контейнер с крышкой в цветочек. Она поворачивается на звук наших шагов.

— Стас, мама передала тебе сырники, ты опять ничего не ешь, она говорит, ты вчера даже...

Алина замолкает.

Она смотрит мимо меня. На Ольгу.

Контейнер выскальзывает у неё из пальцев и шлёпается на ковролин. Крышка отскакивает, сырники разлетаются веером. Алина даже не опускает взгляд. Лицо у неё становится белым, белее стены за её спиной, и только веснушки на носу остаются тёмными, точками фломастера на белой бумаге.

— Аля? — говорю я.

Она меня не слышит. Она делает шаг к Ольге, потом ещё один, и я вижу, как дрожит у неё подбородок.

— Вы... — Голос у сестры срывается на шёпот. — Вы были в центре «Гармония». Я вас помню.

Глава 4

— Это всё ваше имущество?

Станислав забирает у меня обе сумки прямо на пороге, и я не успеваю разжать пальцы. Ручка спортивной сумки выскальзывает из моей ладони, оставляя на коже красный след.

— Всё, что поместилось. Остальное у мамы.

— Остальное — это что?

— Книги по живописи. Хромой мольберт на двух ножках. Зимние сапоги. Ванины рисунки в трёх коробках из-под обуви.

Последнее я говорю зря. Он кивает, запоминая, и я вижу, как это «в трёх коробках» укладывается у него в голове на отдельную полочку.

Дом стоит в конце улицы, за чёрным кованым забором. Два этажа, серый камень, большие окна, на крыльце два кашпо с мокрым от дождя вереском. В прихожей пахнет деревом, корицей и томлёным мясом с гвоздикой. У меня сводит желудок. Я не ела с утра: мама собрала мне в дорогу контейнер с котлетами, и я оставила его на тумбочке, потому что руки были заняты сумками.

— Разувайтесь здесь. Тапки на полке, новые. Размер тридцать седьмой, если я угадал.

— Тридцать шестой.

— Значит, не угадал. Завтра поменяю.

— Не нужно ничего менять. Мне подойдут.

— Вам будут велики, и вы будете шаркать по ночам. Я сплю чутко. Поменяю.

Он ставит сумки у лестницы и закрывает входную дверь. Поворачивает ключ. Нажимает на ручку, проверяя. Поворачивает ещё раз, до упора. Я смотрю на его руку на ключе и молчу.

— Вы всегда так делаете?

— Всегда.

— А если пожар?

— Тогда я открою. Я знаю, где ключ. — Он вешает ключ на крючок у двери, на самое видное место. — Ваш комплект на тумбочке. Синий брелок. Калитка, входная, задняя дверь из кухни. Код сигнализации я пришлю сообщением, запомните и удалите.

— Вы правда думаете, что Эдуард полезет к вам через забор?

— Я думаю, Эдуард сделает всё, что ему выгодно. Забор — самое невинное в этом списке.

Я разуваюсь. Тапки и правда велики, пятка болтается. Он смотрит на мои ноги в серых шерстяных носках и отводит глаза.

— Пойдёмте. Покажу, где что.

— Подождите. — Я стою на месте. — Сначала мне нужно спросить. Ваша сестра.

Он останавливается у первой ступеньки. Спиной ко мне. Плечи под тонким серым свитером напрягаются.

— Что с ней?

— Во вторник я ответила ей, что приходила в центр за мужем. Пару раз, забирала его после вечерних групп, ждала в холле. Она кивнула и убежала в лифт. Сырники так и остались на полу. Вы за ней не пошли.

— Я ей позвонил через час.

— И?

— Она сказала, что обозналась. Перепутала вас с клиенткой.

— Она не обозналась.

— Я знаю.

— Тогда почему она побелела? Я видела людей, узнающих старых знакомых. Они улыбаются, машут рукой, спрашивают, как дела. Ваша сестра смотрела на меня, как на привидение.

Он поворачивается. Лицо спокойное, ровное, а глаза тёмные, усталые.

— Ольга Валерьевна, у моей сестры три года назад развалилась жизнь. Человек, разваливший её, — ваш бывший муж. Алина пугается всего, связанного с ним. Его голоса по радио. Его рекламы на остановках. Женщин, стоявших в холле его центра. — Он делает паузу. — Сестре сейчас плохо. Я разберусь сам.

— Это значит «не лезьте».

— Это значит «дайте мне время».

Я киваю. Не верю ему до конца, но киваю. Он поднимается по лестнице, и я иду следом, считая ступени. Девятнадцать. На тринадцатой скрипит доска, и он оборачивается проверить, не испугалась ли я.

На втором этаже коридор, четыре двери.

— Моя спальня в конце. Кабинет напротив. Ваша здесь. — Он толкает первую дверь. — Ванная своя, полотенца в шкафу. Если чего-то не хватает, говорите сразу, я не умею читать мысли.

Комната светлая, с серыми обоями и широкой кроватью под льняным покрывалом. На подоконнике стоит банка с сухими ветками эвкалипта. На тумбочке лежит книга, и я подхожу посмотреть. Толстая, в тканевом переплёте: «Кухня для тех, кто разучился есть».

— Это вам, — говорит он из дверей. — Там нет ничего сложного. Суп за двадцать минут. Омлет. Пирог с яблоками, у вас в подъезде пахло яблоками, я решил, вы их любите.

— Вы были у меня в подъезде?

— Паша рассказал. Он нюхач.

— Вы собираете обо мне сведения?

— Я собираю сведения обо всём, что рядом с моим домом. — Он прислоняется плечом к косяку. — Вы теперь рядом с моим домом. Даже внутри.

Я провожу пальцами по тканевой обложке. Шершавая, грубая, льняная. Пальцы успокаиваются.

— Спасибо.

— Пожалуйста. Теперь правила.

— У вас есть список?

— У меня есть список. — Он достаёт из заднего кармана джинсов сложенный вчетверо лист и протягивает мне. — Прочитайте. Возражения принимаются до ужина.

Я разворачиваю. Печатный текст, ровные пункты, двенадцатый кегль. Он их распечатал.

«1. Звонки Э. С. — запрещены. Входящие от Э. С. — сбрасывать, сообщать мне. 2. Ужин в 20:00. Общий. 3. Двери запирать. Всегда. 4. Журналисты — молчать, переадресовывать Майе. 5. Гостей предупреждать заранее. 6. Красная папка хранится в сейфе в кабинете. Доступ — у обоих. 7. Публично — пара».

— Вы забыли пункт восемь, — говорю я.

— Какой?

— «Дышать по расписанию».

— Подумаю. — Ему не смешно, или он не показывает. — Возражения?

— Первый пункт. Я не буду сбрасывать, если звонит Ваня.

— Ваня звонит с телефона отца.

— Ваня звонит с телефона, лежащего у отца в кабинете, когда тот выходит в туалет. Два раза за год. Оба раза шёпотом. Если он позвонит, а я сброшу, он больше никогда не позвонит. Он решит, что я его выбросила, как старый телефон.

Станислав молчит. Смотрит на лист у меня в руках.

— Хорошо, — говорит он наконец. — Если звонит Ваня, вы отвечаете. Если трубку берёт Эдуард, вы кладёте трубку и идёте ко мне. В любое время. Даже ночью.

— Даже ночью?

— Особенно ночью. Он любит звонить ночью, верно?

— Откуда вы знаете?

— Он звонил Алине ночью. Год подряд. — Он отталкивается от косяка. — Пойдёмте, я покажу вам ещё одну комнату.

Мы идём по коридору. Вторая дверь, рядом с моей. Он останавливается, берётся за ручку и почему-то медлит. Я вижу, как его пальцы со шрамами сжимают металл, и белые полосы натягиваются на костяшках.

— Если вам не понравится, я переделаю, — говорит он. — Скажите честно.

Он открывает.

Комната меньше моей. Окно выходит в сад, на мокрые яблони и скамейку у забора. У окна стоит письменный стол из светлого дерева, низкий, детский. Над ним полка, пустая. Узкая кровать под синим клетчатым пледом. В углу, у стены, складной мольберт с белым листом, прикреплённым прищепками. Рядом на полу коробка, перевязанная бечёвкой. Я подхожу, тяну за конец бечёвки, и узел распускается. Внутри акварель, медовая, ленинградская, двадцать четыре цвета. Кисти, беличьи, разных номеров. Пачка бумаги для акварели, плотной, с зерном. Карандаши. Ластик в виде кита.

— Ластик выбирала продавщица, — говорит Станислав за моей спиной. — Сказала, дети любят китов.

Я сижу на корточках над коробкой, держу кита в ладони, и горло у меня забито ватой.

— Вы не знаете, какой цвет он любит, — говорю я. Голос получается чужим, сиплым.

— Синий.

Я поднимаю голову.

— Откуда?

— В вашей соцсети тридцать две его работы. Вы выкладывали их до прошлой осени. На всех небо синее. Даже на тех, где ночь, где дождь, где снег. Ультрамарин. Я посмотрел в магазине, как он называется. — Он кивает на плед. — Поэтому клетка синяя.

— Вы смотрели мою страницу.

— Я смотрел всё, что вы о нём выкладывали.

— Это называется слежка.

— Это называется подготовка. — Он скрещивает руки на груди. — Вы пришли ко мне с флешкой и попросили фамилию. Я должен знать, кому её отдаю. И к кому в итоге переедет девятилетний мальчик.

— Он может не переехать.

— Переедет.

— Вы не можете этого обещать.

— Я ничего вам не обещаю. Я покупаю ему стол.

Я встаю. Колени хрустят, тапки съезжают с пяток. Мы стоим посреди детской друг напротив друга, между нами коробка с красками, и мне хочется одновременно ударить его и уткнуться лбом ему в грудь.

— Вы это всё сделали за два дня, — говорю я.

— За полтора. Стол привезли сегодня утром.

— Вы ведь понимаете, как это выглядит?

— Как?

— Вы решили всё за меня. За меня, за Ваню. Где он будет спать, какими красками рисовать, какое у него будет одеяло.

— Плед, — поправляет он.

— Станислав Игоревич.

— Можете поменять. Всё. Стол, плед, краски. Выбросите кита, если он вам не нравится. Я сказал: если не понравится, переделаю.

— Мне нравится, — говорю я. — В этом и беда.

Он смотрит на меня долго. Потом опускает глаза на кита у меня в руке, и уголок его рта снова дёргается, как тогда, в кабинете.

— Ужин в восемь, — говорит он. — Говядина с черносливом. Если вы её не едите, скажите сейчас, я успею сделать рыбу.

— Я ем всё.

— Так не бывает.

— Бывает, если три года ешь блюда, приготовленные по чужому вкусу.

Он выходит первым. Я остаюсь одна в детской, ставлю кита на пустую полку над столом, ровно посередине. Потом передвигаю его на сантиметр левее. Потом обратно.

Ужинаем мы на кухне, за длинным дубовым столом. Он сидит во главе, я сбоку, и между нами блюдо с говядиной, тёмной, блестящей, распадающейся на волокна от одного касания вилки. Он ест быстро и молча. Я ем медленно и чувствую каждый кусок. Тело вспоминает, зачем ему рот, язык, горло, и от этого воспоминания мне почти стыдно.

— Соль, — говорит он.

Я протягиваю солонку. Наши пальцы встречаются над столом. Его — горячие, сухие, шершавые от шрамов. Он не забирает солонку сразу. Держит её вместе с моими пальцами, секунду, две, и смотрит на мою руку.

— У вас холодные руки.

— Всегда.

— Это плохо для кровообращения. — Он забирает солонку. — Пейте горячее на ночь. Чайник на плите, травы в жестяной банке.

— Это пункт восемь?

— Это совет.

— От вас советы звучат как приказы.

— Знаю. Мне говорили. — Он солит говядину, хотя она и так солёная. — Жена говорила.

— Бывшая?

— Пять лет как. Уходя, сказала: «Я выходила замуж за человека. Пять лет прожила с менеджером ресторана».

Он говорит это спокойно, между двумя кусками мяса. Я перестаю жевать.

— И что вы ей ответили?

— Ничего. Она была права.

— Почему вы согласились? — спрашиваю я. — Тогда, в кабинете. Вы ведь могли просто забрать флешку и выставить меня за дверь.

— Мог.

— Так почему?

Он откладывает вилку. Вытирает губы салфеткой, медленно, аккуратно, складывает её вчетверо.

— Потому что вы поставили паузу на «простите».

— Вы поставили.

— Вы выбрали девятнадцатую запись. Из сорока двух. Вы знали, где он говорит «я же для вашей пользы», и знали, где женщина просит прощения за то, в чём не виновата. Вы хотели, чтобы я это услышал. Именно это.

— И вы услышали.

— Я это слышал раньше. В другом голосе. — Он встаёт, относит тарелку к раковине и стоит ко мне спиной. — Ешьте, Ольга Валерьевна. Вы опять перестали жевать.

— Вы опять уходите от ответа.

— Я ответил. Вы просто ждали другого.

— А какого я ждала?

Он оборачивается. Опирается поясницей о край столешницы, скрещивает руки, и рукава свитера сползают, открывая предплечья в тех же белых отметинах.

— Вы ждали, что я скажу «вы мне понравились». Чтобы было легче. Чтобы этот брак казался приключением.

— Я ничего такого не ждала.

— Тогда хорошо. Потому что я так не скажу.

— Почему?

— Потому что это будет неправдой. — Пауза. — Пока.

Я опускаю голову к тарелке и долго, старательно, режу кусок говядины на мелкие волокна. Щёки горят. Он больше ничего не добавляет.

После ужина он моет посуду сам. Не даёт мне даже вытереть тарелку: забирает полотенце у меня из рук и вешает его на крючок, на дальний, куда я дотянусь только с табуретки.

— Идите спать, Ольга Валерьевна. Вы на ногах с шести.

— Откуда вы знаете, когда я встала?

— Вы мне написали в шесть ноль пять. Спросили, можно ли привезти мольберт. Я ответил «нет», потому что мольберт уже стоял в детской.

Я поднимаюсь к себе. Считаю ступени. Девятнадцать, и на тринадцатой скрип.

Сон не приходит. Я лежу под льняным покрывалом и слушаю чужой дом. Дождь по подоконнику. Гудение холодильника внизу. Часы в коридоре, тяжёлые, с маятником. В двенадцать он проходит мимо моей двери, я узнаю его шаги, мягкие, тяжёлые. Слышу, как щёлкает замок в конце коридора. Потом тишина.

В час сорок я встаю за водой.

От моей двери до лестницы одиннадцать шагов. Я делаю шесть и останавливаюсь. Дверь кабинета приоткрыта, из щели на пол падает полоса жёлтого света. Внутри его голос. Негромкий, хриплый от усталости.

— Мама, я не сплю, потому что ты звонишь почти в два часа ночи... Да. Да, она здесь. Приехала днём... Нет, Алине я ничего объяснять не стану. Аля должна была держаться подальше от офиса, я её просил.

Пауза. Я стою в коридоре босиком, в Ваниной старой футболке с динозавром, и не дышу.

— Она её узнала. Да... Я тоже видел... Мама, послушай меня. Я разберусь. Алина ни в чём не виновата... Нет. Не начинай.

Скрипит кресло. Что-то звякает о стекло, он ставит стакан.

— Потому что у меня папка. Потому что у меня записи, и через месяц он сядет в лужу на глазах у всего города... Что значит «и всё»?

Длинная пауза. Свет из щели дрожит: он встал и ходит по кабинету.

— Нет, мама, — говорит он совсем тихо, и от этой тишины у меня по спине ползут мурашки. — Я женюсь не только из-за папки.

Глава 5

— Левой рукой, Ольга Валерьевна. Правой вы вцепились в мой рукав мёртвой хваткой, и мне нечем открыть дверь.

— Простите.

Я перекладываю ладонь. Под пальцами тёмная шерсть пиджака, под шерстью твёрдое предплечье, и оно напрягается, когда я сжимаю пальцы сильнее нужного.

— Слабее, — говорит он. — Я никуда не убегу.

— Я боюсь упасть. Каблуки.

— Каблуки тоже я выбирал. Устойчивые. Продавщица клялась, что в них можно бегать.

— От кого бегать?

— От журналистов. От бывших мужей. От меня, если понадобится.

Ресторан называется «Сосны». Стеклянные стены, живые ели в кадках, свечи на каждом столе. По словам Майи, сегодня здесь ужинает половина тех, кто читает светскую хронику, и вторая половина тех, кто её пишет.

— Мне не нравится платье, — говорю я у гардероба, пока он снимает с меня пальто.

— Мне нравится.

— Вы купили его, не спросив меня.

— Я спросил размер у вашей матери.

— Вы звонили маме?

— Вчера утром. Она сказала: «Сорок четвёртый, но она носит сорок восьмой, чтобы никто не видел, как она похудела. Купите сорок четвёртый, пусть видят». Я купил.

— Она не имела права.

— Она мать. У матерей право на всё. Моя считает, что имеет право звонить мне в два часа ночи.

Я замираю с рукой в рукаве пальто. Он снимает пальто до конца, отдаёт гардеробщице, забирает номерок и только потом смотрит на меня.

— Вы вставали тогда ночью, — говорит он. — Тринадцатая ступенька. Я слышал скрип.

— Я ходила за водой.

— И не дошли. Скрип был один раз. Значит, вы поднялись на тринадцатую и вернулись.

— Мне расхотелось пить.

— Бывает. — Он поправляет мне бретельку на плече, коротко, одним пальцем, и кожа под его пальцем покрывается мурашками. — Улыбайтесь. На нас смотрят от бара.

Платье тёмно-зелёное, плотное, по фигуре. Оно открывает ключицы и плечи, и я чувствую себя голой на сквозняке. В сорок восьмом размере я пряталась год. В сорок четвёртом спрятаться негде.

Нас ведут к столику у стеклянной стены. Он отодвигает мне стул, садится напротив, и колено его под столом упирается в моё. Я отодвигаюсь. Он придвигается обратно.

— Это для вида? — спрашиваю я.

— Столик маленький. Ноги у меня длинные. Терпите.

— Вы со всеми так разговариваете?

— Как?

— Приказами. «Улыбайтесь». «Терпите». «Левой рукой».

— Со всеми. С поварами, с поставщиками, с налоговой. Сестра говорит, со мной невозможно есть суп, я комментирую каждую ложку.

— И как вы предлагаете мне смотреть на вас с симпатией, если вы командуете мной, как сержант?

Он смотрит в меню. Долго. Потом откладывает его и наклоняется через стол.

— Хорошо. Попробую иначе. Ольга Валерьевна, если вам несложно, выберите, пожалуйста, вино. Я его пить не стану, но мне будет приятно, если вы выпьете бокал и перестанете стучать каблуком по полу.

— Я стучу?

— Тридцать два удара с тех пор, как мы сели. Я считал.

Я смеюсь. Тихо, в ладонь. От бара на нас смотрит женщина в серебристом жакете и что-то быстро печатает в телефоне.

— Видите? — говорит он. — Получается.

— Что получается?

— Симпатия. Со стороны вы сейчас выглядите счастливой женщиной.

— А на самом деле?

— На самом деле вы выглядите женщиной, решившей вытерпеть этот вечер до конца. Но со стороны этого не видно. Белое или красное?

— Белое. Кислое. Чтобы сводило скулы.

— Чтобы было за что держаться лицом, — кивает он. — Понимаю.

Официант приносит вино, хлеб, масло с травами. Я отламываю кусок хлеба и кручу его в пальцах, пока он не превращается в шарик.

— Вы отдали фотографию Майе? — спрашиваю я.

— Отдал. Номер ведёт в никуда, сим-карта куплена на рынке. Майя говорит, отправителя мы не найдём. — Он смотрит на хлебный шарик у меня в пальцах. — Женщина с фотографии. Вы её знаете?

— Нет. Тёмные волосы, шёлковый халат. Красивая. Моложе меня лет на десять.

— На ваш вкус, красивая?

— На вкус Эдуарда. Он любит женщин, умеющих молчать в нужных местах.

— А вы умели?

— Двенадцать лет. Потом разучилась.

— Хорошо, что разучились.

Он произносит это просто, глядя мне в глаза, и я теряюсь. Хлебный шарик выскальзывает из пальцев и катится по скатерти к его тарелке. Он ловит его двумя пальцами, кладёт на край своего блюдца и ничего не говорит.

Женщина в серебристом жакете отходит от бара и идёт к нам. Короткая стрижка, большие очки в прозрачной оправе, телефон в руке экраном вверх.

— Станислав Игоревич, добрый вечер! Дарья Лапина, «Городской вестник». Простите, что прерываю. Два слова для читателей, можно?

— Одно, — отвечает он. — Добрый вечер.

— Ну хоть два! — Она смеётся, не убирая телефон. — Говорят, вы женитесь. Это правда?

— Правда.

— И невеста здесь?

— Невеста напротив меня. Ольга Валерьевна Крупина.

Дарья поворачивается ко мне, и улыбка у неё становится острее, профессиональнее.

— Ольга Валерьевна, очень приятно. Скажите, это ведь вы были замужем за Эдуардом Сосновским? Психологом, ведущим центра «Гармония»?

— Была.

— У вас общий сын, верно? Иван, девять лет?

Под столом колено Станислава снова упирается в моё. Плотно, тепло, и на этот раз я не отодвигаюсь.

— Да.

— А правда, что мальчик живёт с отцом по решению суда? Наши читатели, знаете, очень чувствительны к таким историям. Многие спрашивают, почему мать отдала ребёнка.

— Я его не отдавала.

— Но суд решил...

— Суд поверил фотографиям, — говорю я. Голос получается ровным, учительским, и я сама удивляюсь этой ровности. — Фотографии бывают разными, Дарья. Вы работаете в газете, вы знаете. Мой сын живёт с отцом временно. А по средам мы с ним рисуем. Даже когда его нет рядом. Я сажусь за стол, достаю краски и рисую то же небо, что рисовал бы он. Можете так и написать.

Дарья перестаёт улыбаться. Смотрит на меня внимательно, опускает телефон.

— Синее? — спрашивает она тихо. — Небо.

— Синее.

— У меня дочка тоже рисует только синим. — Она убирает телефон в карман жакета. — Спасибо, Ольга Валерьевна. И поздравляю. Обоих.

Она уходит к бару. Я выдыхаю так шумно, что пламя свечи на столе ложится набок.

— Где вы этому научились? — спрашивает Станислав.

— Чему?

— Разговаривать с журналистами. Майя готовила вам ответы три часа, вы не сказали ни одного из них.

— Двенадцать лет на приёмах у Эдуарда. Я стояла рядом и улыбалась, а он говорил. Я слышала, какие слова работают, а какие нет. Слово «временно» работает. Слово «отдала» — нет.

— Вы опасная женщина.

— Это комплимент?

— Это наблюдение. Комплименты я пока не делаю.

— Пока, — повторяю я. — Вы любите это слово.

— Это слово оставляет дверь открытой. Я не люблю закрытые двери, мне их потом проверять.

Официант приносит горячее. Дорадо на гриле для меня, утиная грудка для него. Он режет утку, и я смотрю на его руки, на белые шрамы на костяшках, на то, как нож входит в мясо под нужным углом, ровно, точно.

— Откуда шрамы? — спрашиваю я.

— Кухня. Девятнадцать лет у плиты. Костюм появился потом.

— А этот? — Я показываю на длинный, через всё запястье, белый и гладкий.

Нож в его руке останавливается над тарелкой.

— Этот — длинная история. Не для утки.

— А для чего?

— Для темноты. Для шёпота. — Он снова режет мясо, ровно, точно. — Ешьте, Ольга Валерьевна. Рыба остывает.

— Тогда я спрошу ночью.

Он поднимает на меня глаза. Свеча отражается в них двумя маленькими точками.

— Ночью вы ходите за водой и возвращаетесь с тринадцатой ступеньки, — говорит он. — Ночью со мной трудно разговаривать.

Я не нахожу ответа. Он тянется через стол, берёт прядь моих волос, выбившуюся из причёски, и заправляет её мне за ухо. Медленно. Пальцы касаются мочки уха, задерживаются на секунду дольше нужного, скользят по шее вниз, к ключице, и уходят.

— Это для вида? — спрашиваю я хрипло.

— Женщина у бара снимает, — отвечает он. — Но да. Для вида.

У меня горит шея. Горит там, где прошли его пальцы. Я опускаю глаза в тарелку и вижу в отражении ножа свои губы, мамину вишнёвую помаду, полуоткрытый рот.

А потом стеклянная дверь у входа открывается, и в ресторан входит Эдуард.

Сначала я узнаю смех. Мягкий, бархатный смех, рассыпанный для гардеробщицы. Светлые волосы зачёсаны назад, костюм цвета мокрого асфальта, голубой галстук под цвет глаз. Рядом с ним женщина с фотографии. Тёмные волосы до плеч, чёрное платье, на запястье тонкий браслет. Она держит Эдуарда под руку правой рукой. Правильной рукой.

— Не оборачивайтесь, — говорит Станислав.

— Я и не оборачиваюсь.

— Вы смотрите в нож. В ноже его видно. Положите нож.

Я кладу нож. Пальцы дрожат, и я прижимаю их к скатерти, к плотному льну, глажу ткань, раз, другой, третий.

— Он знал, что мы здесь, — шепчу я.

— Конечно, знал. Дарья написала про нас в своём канале пятнадцать минут назад. С фотографией.

— Вы это подстроили?

— Майя подстроила. Мы хотели, чтобы он узнал. Мы не рассчитывали, что он узнает так быстро.

Эдуард идёт через зал. Улыбается налево и направо, кому-то пожимает руку, кому-то кивает. Женщина в чёрном остаётся у столика метрдотеля. Он подходит к нам один и останавливается у моего стула. От него пахнет его одеколоном, тем же, двенадцать лет одним и тем же, кедр и что-то сладкое, приторное. Меня мутит.

— Станислав Игоревич, — говорит он ласково. — Оленька. Какая встреча.

Станислав не встаёт. Кладёт вилку параллельно ножу и поднимает глаза.

— Эдуард Платонович.

— Поздравить пришёл. Слышал, вы женитесь. — Эдуард поправляет часы на запястье, щёлкает застёжкой. — Красивое платье, Оля. Зелёный тебе никогда не шёл, я тебе всегда говорил. Но сегодня, надо признать, неплохо. Новый муж выбирал?

— Сама выбирала, — вру я.

— Конечно, сама. — Он улыбается мне, как улыбался на семейных фотографиях. — Станислав Игоревич, я искренне рад. Ольге нужна стабильность. Ей всегда она была нужна. Я пытался ей это дать, но, знаете, не всякому человеку можно помочь. Надеюсь, у вас получится. Я ведь ей только добра хочу. Я всегда для её пользы...

— Эдуард Платонович, — перебивает Станислав. Голос у него тихий, и от этой тишины женщина за соседним столиком перестаёт жевать. — Вас ждут у входа. Ваша спутница стоит одна уже две минуты. Не заставляйте даму ждать, это некрасиво.

Эдуард смотрит на него. Секунду, две. Улыбка остаётся на месте, но глаза делаются стеклянными, плоскими.

— Вы правы. Некрасиво. — Он поворачивается ко мне. — Позволь, Оля. На прощание.

Он берёт мою руку со скатерти. Я не успеваю её отдёрнуть, пальцы у него сухие, прохладные, цепкие. Он наклоняется, касается губами тыльной стороны ладони, и дыхание его скользит по моим пальцам. Со стороны это выглядит старомодно и галантно. Женщина за соседним столиком даже улыбается.

Его губы почти у моей кожи, когда он шепчет. Так тихо, что слышу только я.

— Ты всё ещё моя, Ольга. И сын это знает.

Глава 6

POV: Станислав

— Что он вам сказал?

— Станислав Игоревич, мы стоим в коридоре ЗАГСа. Через восемь минут нас позовут.

— Через девять. Я спросил у администратора. Что он вам сказал в субботу?

Ольга отворачивается к окну. Синее платье, то самое, трагичное, как выразилась Майя. Зелёное она в воскресенье утром повесила на дверь моего кабинета, на плечиках, в чехле, и приколола записку: «Спасибо. Верну, когда похудею обратно до сорок восьмого». Я до сих пор не понял, шутка это или нет.

— Гадость, — говорит она. — Он всегда говорит гадости. Это его способ попрощаться.

— Какую именно гадость?

— Неважно.

— Мне важно.

— Почему?

— Потому что после этой гадости вы два дня молчите. Вчера за ужином вы сказали три слова. «Спасибо», «вкусно» и «спокойной ночи». А ночью ходили по коридору. Одиннадцать шагов до лестницы, одиннадцать обратно. Сорок раз.

Она медленно поворачивается.

— Вы считали мои шаги?

— Я лежал и слушал. Считать было удобнее.

— Вы вообще спите?

— Плохо. С четверга.

Это правда, и я жалею, что сказал её вслух. Она смотрит на меня, и в серо-голубых глазах проступает что-то похожее на жалость. Жалость я выношу хуже всего.

— Он сказал, что я до сих пор его, — тихо говорит она. — И что Ваня это знает.

— И вы ему поверили.

— Я ему двенадцать лет верила. От этого так быстро не отвыкают.

— Значит, будем отвыкать вместе. — Я лезу во внутренний карман пиджака и достаю бархатную коробку, тёмно-синюю. — Это вам. Точнее, нам.

Она открывает. Два золотых кольца, узких, гладких, совершенно простых.

— Вы опять решили сами, — говорит она.

— У нас девять минут. Восемь. Решать коллективно было некогда.

— Какой размер вы взяли?

— Шестнадцать с половиной. Я померил вашу ниткой, пока вы спали в машине в субботу.

— Вы что?

— Шучу. Ваша мать сказала.

— Вы с моей мамой созваниваетесь чаще, у меня такого с ней не бывает.

— Ваша мать мне нравится. Она отвечает на вопросы по существу.

Ольга закрывает коробку и стискивает её в ладони. Пальцы у неё белые, ногти короткие, на среднем пальце след от кисти, вечная мозоль художника.

— Мне страшно, — говорит она. Просто, буднично.

— Я знаю.

— Откуда?

— Вы третий раз гладите обивку банкетки. Ткань уже лоснится.

Она отдёргивает руку от банкетки. Потом смотрит на меня и улыбается. Уголками губ, устало.

— А вам? Страшно?

— Мне некогда. Я считаю минуты.

— Это и есть страх, Станислав Игоревич. Вы считаете минуты, я считаю шаги. Мы с вами одинаковые.

Я не успеваю ответить. Дверь на лестницу хлопает, и по коридору стучат каблуки. Быстро, решительно, с неровным, знакомым до боли ритмом: левая нога ступает тяжелее правой.

— Стасик.

Я закрываю глаза на секунду.

— Мама.

Вера Андреевна Ремезова стоит в трёх шагах от нас. Шестьдесят семь лет, верблюжье пальто, седое каре, губы поджаты. В руке сумочка, в другой руке сложенная газета. Она раскрывает газету и показывает мне разворот. На развороте фотография из «Сосен»: я заправляю Ольге прядь за ухо, она смотрит в тарелку. Заголовок: «Ремезов женится. Невеста — бывшая жена психолога Сосновского».

— Ты думал, я узнаю из газеты? — говорит мать. — Я и узнала из газеты. Спасибо, сынок.

— Ты узнала в четверг ночью. От меня. По телефону.

— В четверг ночью ты сказал «женюсь». Ты не сказал «в понедельник в одиннадцать в Центральном ЗАГСе». Это сказала газета.

— Как ты нас нашла?

— Позвонила Майе. Майя меня боится.

— Майя никого не боится.

— Меня боится. — Мать переводит взгляд на Ольгу. Медленно, сверху вниз, от светлых волос с седыми прядками до туфель. — Здравствуйте. Вы Ольга.

— Здравствуйте, Вера Андреевна. Я Ольга.

— Платье у вас печальное.

— Мне сказали, оно нравится судьям.

— Мне оно не нравится. Синий цвет для похорон и для школьной формы. — Мать складывает газету и убирает в сумку. — Сколько вам лет?

— Тридцать восемь.

— Детей?

— Сын. Девять лет. Живёт с отцом.

— Это я тоже прочитала. — Она молчит. — Вы его любите?

— Сына?

— Моего сына.

— Мама, — говорю я.

— Я не тебя спрашиваю, Стасик. Помолчи, ты всю жизнь отвечаешь за других.

Ольга стоит прямо. Коробка с кольцами в её ладони, и пальцы так сжаты, что бархат морщится. Она смотрит моей матери в глаза.

— Я знаю его неделю, — говорит она. — Я не скажу вам «люблю», это будет враньё. Вы его мать, вы почувствуете враньё за километр.

— Почувствую.

— Я скажу другое. Он поставил паузу на нужном слове. Он купил моему сыну синий плед. Он запирает двери по три раза и считает мои шаги ночью. Он невыносимый. И я выхожу за него замуж.

— Красиво говорите, — сухо замечает мать. — Учительница?

— Рисования. Бывшая.

— Бывших учителей не бывает. Стасик, она тебя уже воспитывает?

— Пытается, — отвечаю я.

— Получается?

— Неделю назад я бы сказал «нет».

— А сейчас?

— Сейчас я стою в ЗАГСе в галстуке, мама. Сделай выводы сама.

Мать не улыбается. Она снова поворачивается к Ольге.

— Мальчик ваш. Что он любит?

— Рисовать дома, — говорит Ольга. — Один и тот же дом. Четыре окна, крыша треугольником, труба с дымом. В окнах люди держатся за руки. Он рисует его с пяти лет.

— Сколько людей в окнах?

Ольга моргает. Этого вопроса она не ждала.

— Раньше было трое. Я, он и отец. Последний год... я не знаю. Последний год он мне свои рисунки не показывает.

— Стасик в детстве рисовал корабли, — говорит мать. — Одни корабли. Тетради, обои, поля в учебниках. А потом перестал. В одиннадцать лет. Я так и не узнала почему.

— Мама.

— Я не к тебе обращаюсь. — Она смотрит на Ольгу. — Узнайте, сколько людей в окнах. Это важно. Дети рисуют правду, взрослые на это не способны.

Мать ещё раз смотрит на неё. Потом на меня. Я не знаю, что у меня с лицом, но она вдруг усмехается, коротко, одним уголком рта, и я узнаю в этой усмешке себя.

— Покажи кольца, — говорит она Ольге.

Ольга открывает коробку. Мать заглядывает и фыркает.

— Проволока. Стасик, ты владелец девяти кафе, а купил проволоку.

— Это обручальные кольца, мама. Они должны быть простыми.

— Они должны быть настоящими. — Она снимает перчатку. На левой руке у неё кольцо, тяжёлое, старое, красное золото, гранат в оправе из мелких листьев. Я помню это кольцо столько, сколько помню её руки. Оно было на ней, когда она пекла пироги. Оно было на ней, когда она держала на коленях холодное полотенце, прижатое к моему запястью, и отец стоял в дверях кухни. — Это кольцо моей свекрови. Твоей бабушки. Его носят Ремезовы-женщины. Я его надела в восемьдесят втором и сняла один раз, когда твой отец умер.

— Ты его сняла?

— Сняла на ночь. Утром надела обратно. Он был тяжёлый человек, твой отец, но он был мой. — Она крутит кольцо, стягивает его с пальца, и на коже остаётся бледная вмятина, полоса, светлая, как шрам. — Ольга. Дайте руку.

Ольга смотрит на меня. Я не знаю, что сказать. За сорок два года я не видел, чтобы мать снимала это кольцо при посторонних.

— Мама, это лишнее. Это фиктивный...

— Тихо, — говорит мать, не повышая голоса. — Мы в ЗАГСе. Тут кругом уши.

Ольга протягивает левую руку. Мать надевает ей кольцо на четвёртый палец, и оно идёт туго, через сустав, и садится на место. Как влитое. Мать держит Ольгину руку в своей, рассматривает.

— Вот, — говорит она. — Теперь видно, кто вы.

— Ремезовы-женщины, — повторяет Ольга шёпотом.

— Пока да. — Мать отпускает её руку. — А проволоку отдайте сыну. Пусть носит сам, ему полезно.

Дверь зала открывается. Выглядывает женщина в бордовом костюме, со стопкой бумаг.

— Ремезов, Крупина? Проходите.

В зале пусто и гулко. Белые стулья рядами, искусственные лилии, ковёр с цветочным узором. Мать садится в первый ряд, одна на двенадцать стульев, и кладёт сумочку на колени. Регистратор читает текст, ровный, заученный, про семью, ячейку общества и взаимное уваже-

ние. Я не слышу. Я смотрю на руку Ольги, лежащую на краю стола, на гранат в золотых листьях. Камень ловит свет из окна и бросает на её кожу красную искру.

— Согласны ли вы, Станислав Игоревич...

— Согласен.

— Согласны ли вы, Ольга Валерьевна...

Пауза. Секунда. Две. Регистратор поднимает глаза от бумаг. Мать в первом ряду перестаёт дышать, я слышу это по тишине.

Ольга смотрит на гранат.

— Согласна.

Мы расписываемся. Я ставлю подпись, и ручка рвёт бумагу в конце росчерка. Ольга пишет медленно, аккуратно, учительским почерком. Новая фамилия. Ремезова. Она выводит букву за буквой и перед последней «а» замирает. Смотрит на строчку. Дописывает.

— Объявляю вас мужем и женой, — говорит регистратор. — Можете поцеловать невесту.

Ольга поворачивается ко мне. Лицо у неё бледное, губы накрашены той же вишнёвой помадой, и на нижней губе маленькая трещинка, от холода или от зубов. Я кладу ладонь ей на щёку. Кожа холодная. Она закрывает глаза.

Я целую её коротко. Сухо. По-деловому. На полсекунды.

И на эти полсекунды её губы отвечают. Едва заметно. Мягко подаются навстречу, раскрываются, и я чувствую вкус вишнёвого воска и её дыхание, неровное, рваное. Потом она отстраняется. Открывает глаза. Смотрит на меня так, словно я её ударил.

— Поздравляю, — говорит регистратор с облегчением. — Документы на столе.

На крыльце ЗАГСа ветер, мокрые листья летят по ступенькам. Паша ждёт у машины, курит и делает вид, что не смотрит. Мать застёгивает пальто до горла, натягивает перчатку на голую руку.

— Обедать приедешь в воскресенье, — говорит она мне. — С женой.

— Мама, я...

— С женой, Стасик.

Она поворачивается к Ольге. Берёт её левую руку, с гранатом на пальце, и сжимает. Я стою в шаге от них и слышу каждое слово, сказанное тихим, сухим, совершенно спокойным голосом моей матери.

— Это не кольцо. Это проверка. Не подведи.

Глава 7

— Она не придёт, — говорю я. — Восемь двадцать.

— Придёт. — Станислав снимает крышку с кастрюли, и кухню заливает запахом укропа и сливочного масла. — Алина опаздывает всегда. На семнадцать минут, с точностью до секунды. В детстве она так опаздывала в школу, и мать в конце концов перевела часы в прихожей вперёд.

— Помогло?

— Алина начала опаздывать на тридцать четыре.

Я смеюсь и тут же замолкаю. Кольцо на пальце цепляется за край скатерти. Я разглаживаю её уже пятый раз. Гранат тяжёлый. Двое суток он оттягивает мне руку, и я всё время чувствую его вес, лёгкий, тянущий, постоянный, как чужой взгляд в затылок.

— Перестаньте его крутить, — говорит Станислав, не оборачиваясь.

— Вы видите спиной?

— Я слышу. Оно стучит о тарелку. Тук-тук. Вы его сняли бы, если бы могли.

— Ваша мать сказала: «Не подведи». Как я его сниму?

— Мама говорит это всем. Официантам, сантехникам, мне. Мне — каждое воскресенье.

— И вы ни разу её не подвели?

Он долго молчит, помешивая молодую картошку в масле.

— Подвёл. Три года назад. — Он стучит ложкой о край кастрюли, сбивая масло. — Сегодня я сяду за стол с человеком, перед кем виноват до сих пор. Будьте с ней мягче, Ольга Валерьевна.

— Я всегда мягкая.

— Вы мягкая снаружи. Внутри у вас арматура. Я видел, как вы смотрели на Эдуарда в ресторане.

— Сегодня среда, — говорю я.

— Я знаю.

— Наш с Ваней день. Я утром нарисовала небо. Синее, над крышами. У вас в детской, на мольберте. Вы не против?

— Мольберт для этого стоит. — Он оборачивается, смотрит на меня через плечо. — Я видел. Утром, когда проверял окна.

— Вы проверяете окна в детской? Там никто не живёт.

— Пока никто. Окна от этого не перестают быть окнами. — Пауза. — Небо получилось тёмным. Почти ночным.

— Я рисовала его в шесть утра. За окном было темно.

— Или вам было темно.

Я не отвечаю. Он снова поворачивается к плите, и минуту мы молчим под шкворчание масла. Потом он говорит, не оборачиваясь:

— Я повесил его на стену. Над столом. Кнопками, аккуратно, по углам. Если вы против, снимите.

— Зачем вы его повесили?

— Чтобы, когда он приедет, первое, что он увидел, было ваше небо. Ваше, а не моё. Мне кажется, так правильно.

У меня перехватывает горло. Я сжимаю край скатерти с такой силой, что гранат больно впивается в соседний палец.

— Станислав Игоревич...

В прихожей звонит домофон. Восемь двадцать семь. Станислав вытирает руки о полотенце, смотрит на часы и хмыкает.

— Семнадцать минут, — говорит он. — Я же говорил.

Алина входит в кухню боком, прижимая к груди бутылку белого вина, обёрнутую бумагой. Бежевое пальто, рыжеватые волосы распущены и влажные от мороси, на щеках два красных пятна. Она смотрит на брата, на плиту, на окно. На меня она не смотрит.

— Привет. Я принесла вино. Я его пить не буду, просто так принято, с пустыми руками неприлично. Мама так сказала.

— Спасибо, Аля. Раздевайся.

— Я на минуту.

— Ты на ужин. Я приготовил судака.

— Я не ем судака.

— Ты ешь судака с семи лет. Ты его обожаешь. Раздевайся.

Она снимает пальто и стоит с ним в руках посреди кухни, растерянная, худая, в свитере с растянутыми рукавами. Рукава натянуты на пальцы, и от этого в свои тридцать шесть она похожа на подростка, пойманного у кабинета директора.

— Давайте пальто, — говорю я и встаю. — Я повешу.

Алина отдаёт пальто, не поднимая глаз. Наши пальцы на секунду соприкасаются. Её — ледяные.

— Спасибо, — шепчет она.

— У вас руки холодные. Как у меня.

— У меня всегда.

— У меня тоже. Ваш брат говорит, это плохо для кровообращения, и заставляет меня пить на ночь чай с чабрецом.

Алина вдруг поднимает голову. Смотрит на меня, быстро, коротко, и в её карих глазах мелькает удивление, живое, детское.

— Стас заставляет вас пить чай?

— Каждый вечер. В половине одиннадцатого. Он приносит его в комнату и стоит в дверях, пока я не допью.

— Мама так делала, когда мы болели, — говорит Алина. — Стояла в дверях. Мы ненавидели этот чабрец.

— Я тоже его ненавижу.

Она улыбается. Неуверенно, кривовато, одной стороной рта, и в этой улыбке я вижу Станислава, ту же короткую тень, мелькающую и прячущуюся.

— Садитесь, — говорит Станислав. — Остывает.

Судак на большом блюде, золотистый, с хрустящей корочкой. Молодая картошка с укропом. Салат из огурцов со сметаной. Станислав раскладывает еду по тарелкам, сначала сестре, потом мне, себе последнему. Алина берёт вилку и держит её на весу.

— Мама сказала, вы учительница, — говорит она, глядя в тарелку.

— Была. Рисования. Сейчас подменяю в студии по субботам.

— Детей учите?

— Детей и пенсионерок. Пенсионерки талантливее. Они не боятся испортить лист.

— А дети боятся?

— Дети боятся, если им сказали, что лист дорогой. Я своим ученикам всегда говорила: лист стоит три рубля, рисуйте смело, испортите — дам новый.

— А мне в детстве говорили, что я рисую плохо, — тихо говорит Алина. — И я перестала.

— Кто говорил?

Алина смотрит на брата. Станислав режет судака, медленно, аккуратно, вынимая кости.

— Отец, — отвечает он за неё. — Отец говорил, что у Али руки не из того места. Он всем так говорил. Мне про кухню, ей про рисунки.

— Он говорил, что я неуклюжая, — продолжает Алина. — Что я всё роняю. Что я ни на что не годна, кроме подавать бумаги. Я и подавала. Пятнадцать лет подаю бумаги разным людям. Мне это очень хорошо даётся.

Она смеётся. Смех у неё ломкий, сухой. Станислав кладёт нож.

— Аля.

— Что? Я пошутила. Ольга, это шутка, правда.

— Я поняла, — говорю я.

Алина наконец кладёт в рот кусочек судака. Жуёт. Глотает с трудом.

— Вкусно, Стас.

— Знаю.

— Ты хоть раз в жизни сказал «спасибо, Аля, я старался»?

— Я старался. Это видно по корочке.

— Скромный.

— Честный.

— Ольга, он с вами тоже такой? «Знаю». «Честный». «Ешьте, остывает».

— Каждый день, — говорю я. — Он ещё говорит «терпите» и «левой рукой».

Алина хихикает, по-девчоночьи, в ладонь. Станислав закатывает глаза. На минуту за столом становится тепло. Тикают часы в коридоре. На подоконнике горит свеча в стеклянном стакане, пахнет воском и укропом. Я ловлю себя на мысли, что сижу в чужом доме, с чужими людьми, с чужим кольцом на пальце, и мне хорошо. Это пугает меня сильнее любого звонка Эдуарда.

И тут на столе, у моей тарелки, вибрирует телефон.

Я положила его экраном вверх, как велел Станислав. Пункт первый. Входящие от Э. С. — сообщать.

На экране светится: «Эдик».

Алина видит имя.

Вилка выскальзывает у неё из пальцев и звенит о тарелку. Она застывает. Лицо делается серым, губы белеют, и она начинает дышать. Часто. Мелко. Рывками, со свистом, раскрыв рот, как рыба на льду. Её пальцы вцепляются в край стола, ногти скребут дерево.

— Аля, — Станислав вскакивает, стул опрокидывается с грохотом. — Аля, посмотри на меня.

Она не смотрит. Она смотрит на телефон. Телефон гудит, ползёт по скатерти, и на каждый гудок её плечи вздрагивают.

Я хватаю телефон и нажимаю сброс. Переворачиваю экраном вниз. Мало. Сую его в карман кофты.

— Аля! — Станислав стоит над ней, руки висят вдоль тела, и я вижу, как он не знает, куда их деть. Он сжимает и разжимает кулаки. Лицо у него каменное, и под этим камнем паника. — Таблетки. Где твои таблетки?

Она мотает головой. Дышит. Свист становится выше, тоньше.

— В сумке? В машине?

— В... ма...

— В машине. — Он хватает ключи с крючка. — Ключи от твоей машины. Аля, ключи.

— Кар... ман... пальто...

Станислав выбегает в прихожую. Я слышу, как он роется в карманах её пальто, как хлопает входная дверь, как звенит сигнализация во дворе.

Я сажусь на стул рядом с Алиной. Близко, колено к колену. Беру её руку, ледяную, мокрую, с впившимися в ладонь ногтями.

— Алина. Слушайте мой голос. Только мой голос.

Она хрипит.

— Вы сейчас назовёте мне пять синих вещей на этой кухне. Не торопитесь. По одной. Я подожду.

— Я... не...

— Можете. Одну. Посмотрите вокруг. Одну синюю вещь.

Её глаза мечутся по кухне. Останавливаются.

— Чашка, — выдыхает она.

— Хорошо. Чашка. Синяя чашка на полке. Ещё одна.

— Полотенце.

— Полотенце на крючке. Да. Ещё.

— Пли... плитка. Над раковиной.

— Плитка. Хорошо, очень хорошо. Ещё две.

Её дыхание всё ещё рваное, но свист пропадает. Я кладу её ладонь на скатерть, на плотный лён, и накрываю своей.

— Погладьте ткань. Чувствуете? Шершавая. Ведите пальцами. Туда и обратно. Я так делаю, когда мне страшно. Это помогает. Туда. И обратно.

Она гладит. Пальцы двигаются по льну неуверенно, потом ровнее, ровнее.

— Ваше кольцо, — шепчет она. — Оно красное. Гранат.

— Это не синее.

— Я знаю. — Она почти смеётся, сквозь слёзы. — Я просто... Это мамино кольцо. Она вам его отдала.

— В понедельник.

— Она мне его не отдала. Я просила. После развода. Хотела надеть, чтобы... чтобы чувствовать себя... А она сказала: «Не сейчас, Аля. Ты сейчас не готова». — Слёзы текут по её щекам, она даже не вытирает их. — А вам отдала. Через неделю.

— Алина, я...

— Нет. Нет, я не про это. Я не обижаюсь. Она права. Я была не готова. Я и сейчас...

Она замолкает. Дышит уже почти ровно. Входная дверь хлопает, слышны шаги Станислава во дворе, быстрые, тяжёлые, по гравию к крыльцу.

Алина вдруг сжимает мою руку на скатерти. Изо всех сил. Ногти впиваются мне в кожу. Она наклоняется ко мне, так близко, что я чувствую запах её духов, сладких, яблочных, и нетронутого вина.

— Ольга, — шепчет она быстро, глотая слова. — Простите меня. Я не могу при Стасе. Он не должен... Я вас помню. Я вас правда помню. И я знаю, что у вас. Красная папка.

Шаги на крыльце. Ключ в замке.

— Откуда вы...

— Он мне звонил. Вчера. Ночью. Первый раз за два года. — Её губы дрожат у самого моего уха. — Он не отпустит Ваню, пока вы не отдадите ему папку.

Глава 8

— Где вы спите?

Майя задаёт вопрос, не поднимая головы от бумаг. Субботнее утро, девять пятнадцать, её кабинет на седьмом этаже стеклянной башни у реки. На столе три чашки кофе, ноутбук, стопка распечаток и её вечная папка, синяя, потёртая на углах.

— В смысле? — спрашиваю я.

— В прямом. Комната, кровать, сторона кровати. Где вы спите, Ольга Валерьевна?

— В гостевой. Первая дверь от лестницы.

— А вы, Станислав Игоревич?

— В своей спальне. В конце коридора.

Майя снимает очки, кладёт их на распечатки и трёт переносицу двумя пальцами.

— Прекрасно. Значит, если завтра органы опеки придут с проверкой жилищных условий, а они придут, поверьте моему опыту, они откроют первую дверь от лестницы и увидят женскую кровать, женский халат и женскую зубную щётку. Откроют дверь в конце коридора и увидят мужскую кровать, мужской халат и мужскую щётку. И напишут в акте: «Супруги проживают раздельно». Вы знаете, что это значит?

— Что мы фиктивные, — говорю я.

— Что вы фиктивные. И любой судья поймёт это за три секунды. Особенно если ему подскажут. — Майя разворачивает ноутбук экраном к нам. — А ему подскажут. Вот.

На экране письмо. Официальная шапка, герб, печать. Адвокатское бюро «Зотов и партнёры». «Уважаемая Майя Львовна, в связи с публикациями в прессе о скоропалительном браке Вашей доверительницы считаю необходимым уведомить...»

— Глеб Зотов, — говорит Станислав. — Его адвокат.

— Его адвокат. Лучший в городе по семейным делам. Мы с ним учились на одном курсе. Он списывал у меня гражданское право и до сих пор мне это не простил. — Майя закрывает ноутбук. — В письме он пока вежлив. Пишет, что «выражает обеспокоенность стабильностью условий проживания несовершеннолетнего». Перевожу с адвокатского на человеческий: «Мы считаем ваш брак спектаклем и докажем это».

— Как? — спрашиваю я.

— Как угодно. Фотографиями окон. Показаниями соседей. Вашими же словами. — Она смотрит на меня. — Ольга Валерьевна, кто знает правду об этом браке?

— Вы. Станислав. Я.

— И?

— И мама.

— Ваша мама. Дальше.

— Мать Станислава. Наверное, догадывается.

— Догадывается — это мягко. Она отдала вам кольцо прямо в ЗАГСе. Женщина её склада не отдаёт фамильный гранат на фиктивную свадьбу, если она не знает, что делает. — Майя переводит взгляд на Станислава. — Алина?

Станислав молчит.

— Станислав Игоревич. Ваша сестра знает?

— Знает, что я женился. Подробностей я ей не рассказывал.

— А она спрашивала?

— Нет.

Я опускаю глаза на свои руки. Гранат на пальце. Шершавый подлокотник кресла под ладонью. Алина знает про красную папку. Алине звонил Эдуард. Я обещала ей молчать. Три дня я сижу за ужином напротив её брата, ем его судака, пью его чай с чабрецом и молчу.

— О чём вы говорили с Алей в среду? — вдруг спрашивает Станислав. — Пока я бегал за таблетками.

Я поднимаю голову. Он смотрит на меня. Спокойно, ровно, и от этой ровности у меня сводит желудок.

— О кольце, — говорю я. — Она сказала, что просила его у вашей матери после развода. А мать не дала.

— И всё?

— И про синие вещи. Я заставила её назвать пять синих вещей на кухне. Это помогает при панике.

— Где вы этому научились?

— У себя. На себе. Год назад.

Он долго смотрит на меня. Потом кивает и отворачивается к окну. Он не поверил. Я это вижу по тому, как он трёт большим пальцем старый шрам на запястье, длинный, белый. Историю этого шрама он обещал рассказать ночью и так и не рассказал.

— Ладно, — говорит Майя, переводя взгляд с меня на него и обратно. — Семейные тайны оставьте для семейных ужинов. Вернёмся к делу. Нам нужны доказательства стабильности. Реальные, осязаемые. Пункт первый: общая спальня.

— Нет, — говорим мы со Станиславом одновременно.

Майя поднимает бровь.

— Синхронно. Мило. Ладно, общую спальню оставим на крайний случай. Тогда минимум: ваши вещи в его комнате. Халат на крючке. Щётка в стакане. Книга на тумбочке с вашей стороны. Пусть опека откроет дверь и увидит, что там живёт пара.

— Это враньё, — говорю я.

— Это декорация. Враньё будет, если вы под присягой скажете, что спите в обнимку. Вот этого вы не скажете. А халат на крючке — это просто халат. Он ничего не утверждает.

— Я согласен, — говорит Станислав.

— Вы? — Я поворачиваюсь к нему. — Вы согласны, чтобы мои вещи лежали в вашей спальне?

— Я согласен, чтобы ваш халат висел на крючке в моей спальне. Это разные вещи. Я освобожу вам полку в шкафу и половину тумбочки. Левую.

— Почему левую?

— Я сплю справа. Двадцать лет. Даже в отелях.

— А если я тоже сплю справа?

— Тогда вашему халату придётся привыкать. Халаты гибкие, Ольга Валерьевна. Гибче людей.

— Вы сейчас про халат?

— Я всегда про халат, — говорит он и смотрит на мои губы. Одну секунду. Потом переводит взгляд на Майю. — Дальше.

— В чём разница?

— Разница в том, что халат не ходит по коридору в два часа ночи и не считает шаги.

Майя фыркает в чашку.

— Пункт второй, — продолжает она. — Работа. Ольга Валерьевна, суббот в студии мало. Комиссии нужен трудовой договор, постоянный доход, белая зарплата.

— Я ищу. После суда все школы района вежливо говорят «мы вам перезвоним». Слухи.

— Тогда возьму я, — говорит Станислав.

— Нет.

— Вы даже не дослушали.

— Мне не нужно дослушивать. Я не пойду к вам на зарплату. Жена на зарплате у мужа. Зотов будет счастлив.

— Ольга Валерьевна. — Станислав разворачивает кресло ко мне. Колени наши почти соприкасаются. — У меня пять детских кулинарных студий. Дети пекут пряники, кексы, печенье. Потом их расписывают. Глазурью. Красками для теста. Пищевыми карандашами. Мои повара умеют печь. Расписывать они не умеют. Дети рисуют на пряниках кривых зайцев, а повара им говорят «молодец» и ставят в духовку. Мне нужен человек, умеющий научить ребёнка нарисовать зайца так, чтобы ребёнок гордился. Это работа. Её никто не выдумывал ради вас. Вакансия висит на сайте четыре месяца.

— Покажите.

Он достаёт телефон, открывает сайт, протягивает мне. «Педагог по декору. Требования: художественное образование, опыт работы с детьми от 5 лет». Дата публикации: июнь.

— Сколько? — спрашиваю я.

— Шестьдесят тысяч. Пять дней в неделю, с десяти до четырёх. Суббота и воскресенье свободны.

— Вы назвали эту сумму сейчас. Только что.

— Сумма написана на сайте. Пролистайте ниже.

Я листаю. Шестьдесят тысяч. Строчкой под требованиями, мелким серым шрифтом.

— Майя Львовна, — говорю я. — Если я возьму эту работу, Зотов скажет, что муж платит жене зарплату за красивую строчку в штатном расписании.

— Скажет, — кивает Майя. — А я скажу, что жена работает в общей сети студий на общих основаниях, с общим трудовым договором, подписанным директором по персоналу, и с испытательным сроком три месяца. И что дети в пяти студиях подтвердят, что новая учительница действительно учит их рисовать зайцев. Детей Зотов допрашивать не станет. Дети его ненавидят, он похож на кота с рекламы корма.

— Испытательный срок? — Я смотрю на Станислава. — Вы меня можете уволить?

— Могу.

— Вы бы уволили?

— Если вы будете плохо учить — да.

— Даже жену?

— Особенно жену. Я не держу у себя людей за фамилию. Вы это скоро поймёте.

Я смотрю на экран долго. Потом отдаю ему телефон.

— Я подумаю.

— Подумайте до понедельника. В понедельник у меня в «Тёплом доме» ужин.

— Какой ужин?

— Семейный. — Он смотрит на Майю. — Вот вам пункт третий, Майя Львовна. Доказательства. Я хочу собрать обе семьи. Вера Андреевна, Галина Петровна, Алина. Мы с Ольгой. Большой стол в малом зале. Фотограф из «Вестника», Дарья Лапина, она уже писала про нас, и её тон Ольге понравился.

— Мне понравился её тон? — переспрашиваю я.

— Вы ей сказали про синее небо. Она убрала телефон. Значит, понравился.

— Фото семейного ужина, — медленно говорит Майя. — Две матери за одним столом. Сестра. Новобрачные. Это хорошо. Это очень хорошо, Станислав Игоревич. Опека любит фотографии бабушек.

— Вы хотите посадить мою маму за один стол с вашей, — говорю я. — Через неделю после свадьбы.

— Через восемь дней.

— Моя мама сорок лет работала в библиотеке. Она будет молчать весь вечер и смотреть на вашу маму поверх очков.

— Моя мама шестьдесят семь лет смотрит на всех поверх очков. Они поладят.

— А Алина? Она не придёт. После среды она...

— Придёт. Я её попрошу.

— Вы её не попросите. Вы ей прикажете.

Он смотрит на меня, и в серых глазах вспыхивает что-то колючее, злое.

— Вы правы, — говорит он тихо. — Я ей прикажу. Я всем приказываю. Я приказываю поварам, поставщикам и вам. Это моя тёмная сторона, Ольга Валерьевна. Я покупаю решения и приказываю людям. Вы это знали, когда входили в мой кабинет в чужой блузке. Вы на это рассчитывали.

— Я рассчитывала на вашу фамилию.

— Вы её получили. Вместе со мной. Отдельно не продаётся.

Тишина. Майя смотрит в окно, на серую реку, на баржу, ползущую под мостом, и делает вид, что её здесь нет.

У неё на столе звякает ноутбук. Новое письмо. Майя поворачивает экран к себе, пробегает глазами первые строчки, и лицо её меняется. Медленно. Губы сжимаются в нитку, острая чёлка падает на лоб, она её не поправляет.

— Майя Львовна? — говорит Станислав.

Она молчит. Читает дальше, прокручивая колёсиком мыши. Потом снимает очки и кладёт их на стол, дужками вверх, аккуратно, и этот жест пугает меня больше крика.

— Это от Зотова, — говорит она. — Пришло сейчас. Копия ходатайства, он подал его в суд вчера в половине шестого, перед самым закрытием канцелярии. Первое заседание назначено на пятницу, через тринадцать дней.

— Что в ходатайстве? — спрашиваю я. Голос у меня садится.

Майя поднимает на меня глаза.

— Эдуард требует экспертизу вашей материнской компетентности.

Глава 9

POV: Станислав

— Она не придёт.

Ольга говорит это в трубку и одновременно мне, стоя посреди малого зала «Тёплого дома» с телефоном у уха. Шесть сорок вечера. Стол накрыт на шестерых: белая скатерть, веточки эвкалипта в низких вазах, свечи, хлеб в льняных мешочках, мой лучший фарфор. Шестой прибор, у окна, для Галины Петровны.

— Мам. Мама, послушай... Нет, никто не заставляет тебя позировать. Это просто ужин... Мама.

Она опускает руку с телефоном. Смотрит на экран.

— Повесила трубку.

— Что она сказала?

— Что она не пойдёт сидеть за столом, накрытым для фотографа. Что её дочь вышла замуж за человека, нашедшего время купить ей платье и не нашедшего минуты спросить разрешения у матери. Что она не мебель для чужой рекламы.

— Я звонил ей дважды.

— Вы звонили ей узнать размер. Это другое.

— Я спросил размер и спросил, как её давление.

— Она сказала, у неё давление от вашей фамилии. — Ольга кладёт телефон в сумочку, и пальцы её на застёжке дрожат. — Простите. Я не должна была. Это её слова, не мои.

— Убираем прибор?

— Оставьте. Пусть стоит. Может, она передумает.

Я знаю, что Галина Петровна не передумает. Мы разговаривали с ней по телефону ровно четыре раза, и каждый раз я слышал в её голосе одно и то же: гордость, натянутую до звона, и что-то ещё, глубже, похожее на страх.

— Ваша мать с кем-то разговаривает, — говорю я. — Кроме вас.

Ольга поднимает голову.

— Почему вы так решили?

— В прошлый вторник она сбросила мой звонок. Перезвонила через минуту и сказала: «Простите, думала, это другой». Какой другой, Ольга Валерьевна?

— Реклама окон, — медленно отвечает она. — Она говорит, ей звонят продавцы пластиковых окон.

— В десять вечера?

Ольга молчит. Потом отворачивается к столу и начинает поправлять салфетку у прибора Галины Петровны, уже ровную, уже сложенную треугольником.

— Я поговорю с ней, — говорит она. — Завтра.

— Хорошо.

Дверь зала открывается. Входит мать, в том же верблюжьем пальто, с коробкой из кондитерской в руках. Вчера, на воскресном обеде, она кормила Ольгу борщом и задавала ей вопросы с такой скоростью, что я дважды выходил на балкон. Ольга отвечала на каждый. Про Ваню, про школу, про отца, про акварель. Под конец мать сказала: «Ну хоть не дура», и это было высшей оценкой, какую она давала людям за последние двадцать лет.

— Наполеон, — объявляет мать, ставя коробку на край стола. — Свой. Твои повара его испортят кремом из банки.

— Мои повара делают крем сами, мама.

— Из банки. Я видела в прошлый раз. Здравствуй, Оля.

— Здравствуйте, Вера Андреевна.

Мать снимает пальто, оглядывает стол, пересчитывает приборы губами.

— Шесть. Кто шестой?

— Мама Ольги. Не придёт.

— Почему?

— Давление, — говорит Ольга.

Мать смотрит на неё поверх очков. Долго.

— Давление, — повторяет она. — Ладно. У меня тоже давление. От твоего мужа. Тридцать лет хронического давления. Где Аля?

— Опаздывает, — говорю я.

— На семнадцать минут?

— На тридцать четыре. Ты же перевела часы в прихожей.

Мать фыркает, а Ольга вдруг смеётся, коротко, сама себе удивляясь, и прикрывает рот ладонью с гранатом. Мать замечает кольцо. Ничего не говорит, только чуть заметно кивает.

Дарья Лапина приходит в семь, с фотоаппаратом на ремне, в простом сером свитере вместо серебристого жакета. Мы договорились: десять снимков за ужином, никаких постановочных, никаких интервью. Она устраивается у стены, в тени, и становится почти незаметной.

— Работаем, — говорю я Ольге вполголоса. — Вы готовы?

— Нет.

— Я тоже. Садитесь рядом со мной.

— Я и так сажусь рядом с вами.

— Ближе. Стул можно подвинуть.

Она двигает стул. Наши плечи почти соприкасаются. От неё пахнет мылом, ромашкой и чуть-чуть акварелью, этим её особенным запахом мокрой бумаги, въевшимся в пальцы. Я не знал, что у акварели есть запах. Теперь знаю.

Алина приходит в семь тридцать четыре. Целует мать, кивает мне, садится напротив Ольги и сразу берёт стакан с водой обеими руками. Смотрит в стакан.

— Привет, Оля.

— Привет, Алина.

С прошлой среды они ни разу не разговаривали. Я это знаю, потому что спрашивал у обеих. Обе сказали «нет» слишком быстро.

Повара приносят утиный паштет. Мать пробует, морщится, пробует снова.

— Соли мало, — говорит она.

— Соли ровно, мама. Это ты пересаливаешь.

— Я сорок лет пересаливаю, ты на моей соли вырос. Оля, кто у вас дома готовит?

— Стас, конечно, — отвечает Ольга и кладёт мне ладонь на колено под столом. — Мне он разрешает только резать огурцы. И то кружочками строго по три миллиметра.

— По два, — поправляю я.

— По два, — соглашается она. — Я всё время забываю.

Ладонь лежит у меня на колене. Под столом камеры нет. Это для матери, Ольга чувствует её взгляд. Три секунды, и ладонь уходит, а колено горит ещё минуту.

— Аля, ешь, — говорит мать. — Ты опять клюёшь.

— Я ем, мам.

— Ты гоняешь паштет по тарелке. Оля, скажите ей. Вас она послушает.

— Почему меня? — удивляется Ольга.

— Потому что вы чужая. Чужих люди слушают лучше. Своих они только терпят.

Алина краснеет и кладёт паштет в рот. Ольга смотрит на неё через стол, мягко, и Алина вдруг улыбается ей, быстро, виновато.

— Вкусно, — говорит Алина. — Правда, Стас.

— Знаю.

— Скромный, — хором говорят Алина и Ольга, и обе смеются, и щёлкает затвор камеры Дарьи.

Я подливаю Ольге воды. Она касается моего запястья пальцами, легко, на секунду. Снова щелчок. Она хорошо играет. Слишком хорошо.

«Стас». Она ни разу не называла меня так.

— Стас, — говорит она снова, через десять минут, когда мать рассказывает Дарье, каким я был невыносимым подростком. — Помнишь, ты говорил про корабли?

Я не говорил ей про корабли. Это мать сказала в ЗАГСе. Ольга смотрит на меня, улыбается, и в её глазах вопрос: «Подыграйте».

— Помню, — говорю я.

— Расскажешь когда-нибудь, почему перестал их рисовать?

Мать замолкает на полуслове. Дарья опускает фотоаппарат. Алина поднимает глаза от стакана.

— Расскажу, — говорю я. — Когда-нибудь. Ночью.

— Ночью ты обещал рассказать про шрам.

— Значит, у нас будет длинная ночь.

Ольга краснеет. Медленно, от шеи. Алина смотрит то на неё, то на меня. Мать смотрит в тарелку и улыбается в неё, едва заметно, и это хуже любого комментария.

После телятины я встаю, чтобы принести мамин наполеон из кухни. Ольга встаёт следом.

— Я помогу.

— Не нужно.

— Нужно. Мне нужно выйти. Хотя бы на минуту.

Мы выходим в служебный коридор. Здесь узко, пахнет горячим хлебом, на стене висит график смен. Дверь в зал закрывается за нами, и Ольга прислоняется спиной к стене. Закрывает глаза.

— Я больше не могу, — говорит она.

— Можете. Осталось полчаса.

— Я не про ужин. Я про «Стас». Про руку на колене. Я это делаю, и мне... — Она открывает глаза. — Мне легко это делать. Это меня пугает.

— Почему?

— Потому что легко должно быть только по-настоящему.

Я стою напротив неё. Коридор узкий, меньше метра от стены до стены. Мимо проходит официант с подносом, и мне приходится шагнуть к ней, чтобы его пропустить. Я упираюсь ладонью в стену над её плечом. Официант проходит. Я не убираю руку.

— Ольга.

— Да.

— На колене вы держали руку для матери. Я понял.

— Да.

— А сейчас? Здесь только мы и запах хлеба.

Она смотрит на мою руку на стене. Потом на мои губы. Потом мне в глаза. Дышит часто, мелко, и я вижу, как бьётся жилка у неё на шее, под тонкой кожей, над ключицей, там, где неделю назад я касался её пальцами в «Соснах».

— Сейчас вы стоите слишком близко, — говорит она.

— Отойти?

Пауза. Длинная, как этот коридор.

— Нет.

Я не двигаюсь. Она тоже. Между нами несколько сантиметров и жар из пекарни, и я чувствую тепло её тела, слышу её дыхание, вижу трещинку на нижней губе, ту же, что в ЗАГСе.

Мне хочется коснуться этой трещинки большим пальцем. Мне хочется много чего, и я стою, упёршись ладонью в стену, и ничего из этого не делаю.

Дверь кухни распахивается. Повар Митя высовывается с ножом в руке.

— Станислав Игоревич, наполеон резать или целым нести?

Ольга выскальзывает у меня из-под руки.

— Целым, — говорит она за меня. — Вера Андреевна будет резать сама. Она нам не доверит.

Митя смотрит на неё, на меня, на мою ладонь, всё ещё прижатую к стене, и исчезает на кухне.

Наполеон мать режет сама. Мы едим его, пьём чай, Дарья делает последний снимок: мать, Ольга и Алина над тортом, все три с ножами и вилками, и лица у всех трёх серьёзные, сосредоточенные, удивительно похожие. Она показывает мне этот кадр на экране фотоаппарата, и я понимаю, что он лучший.

В десять гости уходят. Мать увозит Паша. Алина уезжает на своей машине, и у двери она вдруг обнимает Ольгу, быстро, неловко, одной рукой, и сразу убегает. Ольга стоит на крыльце и смотрит ей вслед.

— Что между вами? — спрашиваю я.

— Ничего.

— Ольга Валерьевна.

— Стас, — говорит она тихо. — Мы же договорились. При людях Стас.

— Здесь нет людей.

— Значит, Станислав Игоревич. — Она застёгивает пальто. — Ничего между нами. Ей было плохо в среду, я помогла. Женщины так делают. Обнимаются после.

Я не верю ей. Я ей не верю уже пятый день и не понимаю, почему мне от этого так скверно.

— Вы понравились моей матери, — говорю я в машине.

— Она сказала мне на прощание: «Не подведи».

— Опять?

— Опять. И добавила: «Пока справляешься».

— Это много. Мне она «пока справляешься» сказала в тридцать пять лет, когда я открыл первую студию.

— А до этого?

— До этого она говорила «посмотрим».

Ольга тихо смеётся и отворачивается к окну. Дальше мы едем молча. На заднем сиденье, Паша впереди. Ольга смотрит в окно, я смотрю на её руку на сиденье между нами, на гранат, на тонкие пальцы. Один раз машину подбрасывает на кочке, и её пальцы касаются моих. Она их не отдёргивает. Я свои тоже.

Так мы и едем. Мизинец к мизинцу. Шесть минут.

У ворот телефон в моём кармане вибрирует. Я достаю его. Сообщение с незнакомого номера. Фотография.

Служебный коридор «Тёплого дома». График смен на стене. Моя ладонь, упёртая в стену над плечом Ольги. Её лицо, запрокинутое ко мне. Её приоткрытые губы. Снято сбоку, из-за угла, из двери, ведущей к мойке. Под фотографией ссылка на сайт городского портала «Сплетник» и заголовок: «Медовый месяц Ремезовых: страсть в подсобке».

И ниже, отдельной строкой, подпись.

«Фото уже в статье. Кто-то сливает вашу жизнь, Станислав Игоревич. Э. С.»

Глава 10

— Ты меня бросила.

Ваня говорит это, не вынимая рук из карманов. Стоит в двух шагах от меня у школьной ограды, с рюкзаком на одном плече, в синей кофте с капюшоном, в кофте с фотографии. Капюшон натянут до бровей. Ноябрьский ветер треплет светлую чёлку, выбившуюся из-под капюшона.

Час двадцать дня. Среда.

Я ждала его сорок минут. Считала прутья ограды: сто двенадцать от калитки до угла. Считала детей, выбегающих из дверей: семьдесят три. Он вышел семьдесят четвёртым, последним, увидел меня и остановился, как останавливаются перед лужей.

— Ванечка...

— Папа сказал, ты вышла замуж.

— Да.

— За дядю с ресторанами.

— Его зовут Станислав.

— Папа сказал, ты вышла за него, потому что у него деньги. И что теперь у тебя новая семья. А я тебе больше не нужен.

У меня подкашиваются колени. Я присаживаюсь на корточки, чтобы быть с ним одного роста, и пальто метёт мокрый асфальт.

— Ваня. Посмотри на меня.

Он смотрит на свои кроссовки.

— Пожалуйста. Посмотри.

Он поднимает глаза. Серо-голубые, мои. Под глазами тени, синеватые, недетские.

— Я вышла замуж, чтобы ты вернулся ко мне, — говорю я. — Чтобы у нас был дом. Настоящий. С комнатой для тебя. Судья смотрит, где мама живёт, есть ли у неё кровать для сына, работа, деньги на краски. У меня этого не было. Теперь есть.

— Папа говорит, ты врёшь.

— Я тебе когда-нибудь врала?

Он думает. Долго, серьёзно, по-взрослому сдвинув брови. Так он думал над задачками по математике, когда ему было семь.

— Ты сказала, что прививка не больно.

— Это было больно?

— Чуть-чуть.

— Значит, я соврала чуть-чуть. Прости меня за прививку.

Уголок его рта дёргается. Еле заметно. И сразу пропадает.

— Комната есть? — спрашивает он.

— Есть. Окно в сад, там яблони. Стол. Мольберт. Акварель, двадцать четыре цвета, ленинградская. Плед в синюю клетку.

— Синий?

— Ультрамарин.

— Это ты выбирала?

Я открываю рот и закрываю. «Не врать Ване». Моё первое условие. Моё собственное.

— Нет. Станислав выбирал. Он посмотрел твои рисунки у меня в телефоне и увидел, что ты всегда рисуешь синее небо.

Ваня хмурится.

— Он смотрел мои рисунки?

— Все тридцать два, выложенные мной в интернет.

— Зачем?

— Чтобы знать, какой ты.

Ваня молчит. Ветер дует сильнее, и он поднимает плечи к ушам.

— А ещё что там есть? В комнате.

— Ластик в виде кита.

— Кита?

— Синего. Продавщица сказала, дети любят китов.

— Я не люблю китов. — Он вынимает одну руку из кармана и трёт нос. — Я люблю акул.

— Я ему скажу.

— Не надо. Кит тоже ничего. А он какой? Станислав.

— Высокий. Седой немного. Руки в шрамах, он повар. Готовит каждое утро сам, даже когда может попросить кого-нибудь.

— Он злой?

— Строгий. Он всё время всё проверяет. Замки, окна, сколько соли в супе.

— Как папа?

Я думаю над ответом. Долго, честно, потому что Ваня ждёт честного.

— Папа проверяет людей, — говорю я. — Станислав проверяет двери. Это разное.

— Почему разное?

— Двери не плачут, когда их проверяют.

Ваня смотрит на меня, сдвинув брови, и я вижу, как он раскладывает эти слова у себя в голове, по полочкам, по-взрослому. — Пауза. — Мам. А у вас там правда никто не кричит?

Мне перехватывает горло. Я тяну к нему руку, медленно, как к испуганной птице, и касаюсь его плеча. Он не отстраняется.

— Никто не кричит, Ванечка. Станислав говорит тихо. Иногда даже слишком тихо. Его приходится переспрашивать.

— А папа говорит громко. Когда мы одни. — Он тут же поджимает губы. — Это я пошутил.

— Ваня.

— Я пошутил, мам. Папа нормальный. Папа хороший. Он мне купил приставку. И Кира печёт блины с бананом.

— Кира, — повторяю я.

— Она живёт у нас. У неё волосы чёрные. Она добрая. Она говорит, я могу звать её мамой, если хочу.

— А ты хочешь?

Он долго не отвечает. Смотрит на ограду, на прутья, на облупившуюся зелёную краску.

— Я никак её не зову, — говорит он наконец. — Я говорю «а можно» и всё. «А можно сок». «А можно мультики». Просто «а можно».

Я обнимаю его. Не выдерживаю. Притягиваю к себе, и он стоит в моих руках деревянный, неподвижный, руки снова в карманах. Пахнет чужим стиральным порошком, лавандовым, и мне хочется кричать от этого запаха. Потом он вдруг прижимается лбом к моему плечу. На секунду. Две.

— Ты по средам рисуешь? — шепчет он в моё пальто. — Ещё?

— Каждую среду. Сегодня утром нарисовала сад. Яблони под дождём.

— А небо?

— Синее.

— Ты врёшь. Под дождём небо серое.

— Я знаю. Я нарисовала синее. Для тебя.

Он отстраняется. Смотрит мне в лицо, и в глазах у него стоят слёзы, но он их не пускает, держит, он мастер держать слёзы, мой сын, он этому научился за год.

— Почему ты тогда ушла? — говорит он. — Ты ушла и меня оставила. Ты обещала, что мы вместе. А потом я остался, а ты нет.

— Я не оставляла тебя. Суд...

— Папа сказал, ты сама решила. Что ты устала. Что я тебя утомлял.

— Это неправда.

— А почему тогда?

Сзади, у бордюра, тормозит машина. Чёрный седан с тонированными стёклами. Я узнаю его по звуку двигателя, по тому, как мягко хлопает водительская дверь.

— Оленька.

Эдуард идёт к нам через школьный двор. Длинное серое пальто, кашемировый шарф, улыбка. Учительница на крыльце школы машет ему рукой, и он машет ей в ответ.

— Какой сюрприз, — говорит он, подходя. — Ванечка, привет, сын. Оля, разве сегодня по расписанию твой день? Мне кажется, нет. Мне кажется, твои дни — вторник и пятница, и только по телефону. И только в моём присутствии.

— Среда, — говорю я, поднимаясь. Колени не слушаются, я опираюсь рукой о прутья ограды. — Среда наш день. Всегда был.

— Был, — соглашается Эдуард. — Ванечка, иди в машину. Кира тебя ждёт, у неё горячий какао.

Ваня не двигается. Стоит между нами. Руки в карманах, плечи у ушей.

— Ваня, — говорит Эдуард мягче. — Я сказал: в машину.

— Мама рассказывает про комнату, — говорит Ваня. — Там плед синий.

— Плед. — Эдуард улыбается мне. — Ты рассказываешь ребёнку про плед. Покупаешь его пледом. Оленька, это ниже твоего уровня.

— Я ничего не покупаю.

— Конечно. Ремезов покупает. Ты рассказываешь. — Он протягивает Ване руку. — Пошли.

Ваня смотрит на руку отца. Потом на меня. Потом снова на руку.

Я делаю шаг к сыну, и ремень сумки на плече цепляется за прут ограды. Дёргается. Старая застёжка расстёгивается со щелчком. Сумка соскальзывает, падает на асфальт и раскрывается.

Всё вываливается на мокрый асфальт. Кошелёк. Красный блокнот. Мамина вишнёвая помада, катится к бордюру. Ключи с синим брелоком. И синяя пластиковая папка, прозрачная, с бумагами внутри. Майя дала её мне вчера: окончательная версия брачного договора, исправленная, двенадцать страниц, на подпись. Я везла её к Майе после школы.

Папка падает углом. Защёлка отлетает. Верхние листы выскальзывают на асфальт и разлетаются веером.

— Ох, — говорит Эдуард. — Давай помогу.

— Не надо.

Но он уже наклонился. Поднимает первую страницу. Двумя пальцами, аккуратно, держа за край, чтобы не испачкать. Смотрит на неё. Я вижу, как его глаза скользят по строчкам. Вниз. Ещё вниз. Останавливаются.

— «Брачный договор», — читает он вслух. Негромко, задумчиво. — «Настоящий договор заключается сроком на один год с момента государственной регистрации брака с правом продления по взаимному согласию сторон». — Он поднимает на меня глаза, и они блестят. — Год. Оленька. Как трогательно.

— Отдай.

— Конечно. — Он поднимает ещё один лист. Третья страница. Он читает одними губами, быстро. — «Компенсация в случае досрочного расторжения по инициативе Супруга составляет три миллиона рублей». Три миллиона. Ремезов знает тебе цену. Я вот не знал.

Я выхватываю у него листы. Руки трясутся так, что бумага шуршит. Я собираю остальные с асфальта, мокрые, грязные, с отпечатками подошв, и запихиваю в папку. Застёжка не защёлкивается. Я прижимаю папку к груди.

— Я ничего не видел, — говорит Эдуард ласково. — Правда. Зачем мне видеть? Это ваши семейные дела. Ваня, пошли.

Он берёт Ваню за руку. Ваня стоит, не двигается. Смотрит на меня, на папку у меня в руках, на грязные листы. Он не понимает, что в них. Он понимает, что маме страшно. Он видит это по моему лицу, как видел год назад, в коридоре, когда я шла проверять плиту в четвёртый раз.

— Мам, — говорит он. — Что это?

— Бумаги, Ванечка. Взрослые бумаги.

— Мама подписала с дядей бумагу на год, — говорит Эдуард, не повышая голоса. — Через год она с ним разведётся. Как со мной. Мама со всеми разводится, сынок. Ты же знаешь.

— Эдуард...

— Я же для его пользы, Оля. Ребёнок должен знать правду. Ты сама всегда это говорила.

Ваня переводит взгляд с меня на него. С него на меня. Лицо у него белеет, губы дрожат, и я вижу, как он сжимает кулаки в карманах кофты, как натягивается ткань.

— Ваня, — говорю я. — Это не...

Он выдёргивает руку из отцовской ладони. Резко, со всей силы. Отступает назад, от нас обоих. Рюкзак сползает с плеча и падает на асфальт рядом с моей помадой.

— Я хочу домой, — говорит он.

Тихо. Сквозь зубы. Глядя в пустоту между мной и отцом. И от этой тишины мне страшнее любого крика, потому что мы с Эдуардом оба не знаем, какой дом он имеет в виду.

Глава 11

POV: Станислав

— Положите папку.

Ольга вздрагивает и оборачивается. Сейф у неё за спиной открыт, дверца распахнута, внутри горит маленькая лампочка. Красная папка у неё в руках, прижата к груди. Одиннадцать сорок пять ночи. Она в той же кофте, в какой вернулась днём, и на подоле пальто, брошенного на кресло, засохли грязные брызги со школьного двора.

— Я думала, вы спите, — говорит она.

— Я слышал, как пищит кодовый замок. Шесть цифр. Шесть писков.

— Код дали вы. Пункт шестой. Доступ у обоих.

— Доступ, — соглашаюсь я. — Пункт шестой. Куда вы её несёте?

— Ему.

— Сейчас? В полночь?

— Он не спит. Он никогда не спит, когда выигрывает. — Она стискивает папку крепче. — Я напишу ему, что еду. Он откроет.

Я закрываю за собой дверь кабинета, оставляя замок в покое, и прислоняюсь к ней спиной.

— Ольга Валерьевна. Сядьте.

— Я не хочу сидеть.

— Тогда стойте. Но поговорите со мной пять минут. Потом, если захотите, Паша вас отвезёт. Я сам открою ворота.

Она смотрит на меня с недоверием. Губы обкусаны, на нижней снова та трещинка. Глаза сухие и красные. Она не плакала. Я знаю, что она не плакала, потому что с трёх часов дня, когда Паша привёз её от школы, я слушаю тишину в её комнате. Шесть часов тишины.

— Пять минут, — говорит она.

— Почему сейчас?

— Вы знаете почему. Я вам рассказала.

— Вы рассказали, что Эдуард прочитал договор. Что сказал Ване про развод через год. Что Ваня крикнул. Дальше вы ушли к себе и закрыли дверь. Дальше я ничего не знаю.

— Дальше Кира увела его в машину, — говорит она глухо. — Взяла за руку и увела. Он не сопротивлялся. Он шёл и смотрел под ноги. А Эдуард постоял со мной ещё минуту, поправил часы и сказал: «Ты же понимаешь, что ты сделала с ребёнком». И уехал.

— Это сделал он.

— Это сделала я. Я принесла эту папку. Я уронила сумку. Я вышла за вас замуж на год.

— Вы вышли за меня замуж, чтобы вернуть сына.

— И теперь мой сын думает, что мама со всеми разводится. — Её голос ломается. — Вы слышали его лицо? Простите. Вы видели его лицо? Нет, вы не видели. А я видела. Он смотрел на меня глазами Эдуарда. Как на сумасшедшую.

— И вы решили отдать папку.

— Он хочет папку. Он отдаст Ваню за папку.

— Откуда вы знаете, что он хочет папку?

Она молчит. Секунду, две. Отводит глаза к окну, к темноте сада.

— Догадалась, — говорит она.

Она врёт. Я вижу это ясно, до мелочей. Она врёт мне пятый день, с той среды, с ужина с Алей. И сейчас я понимаю, о чём она врёт.

— Вам сказала Аля, — говорю я.

Ольга бледнеет.

— Нет.

— Аля. Пока я бегал к машине за таблетками. Она вам что-то сказала, и с тех пор вы не смотрите мне в глаза, когда я спрашиваю про неё.

— Станислав...

— Мне не нужно, чтобы вы мне пересказывали. Если Аля просила молчать, молчите. Я спрошу её сам. Когда смогу. — Я отталкиваюсь от двери и подхожу к столу, обходя её стороной. Опираюсь на него ладонями. — Но послушайте меня. Пять минут ещё не прошли.

Она стоит у сейфа. Папка у груди.

— Три года назад, — говорю я, глядя на столешницу, — Аля работала у него ассистенткой. Четвёртый год. Она пришла туда после института, восторженная, с горящими глазами. Говорила: «Стас, он гений, он спасает семьи». Она записывала клиентов, вела его расписание, подавала ему кофе и бумаги. Подписывала бумаги. Пачками. Не читая. Он говорил: «Аличка, вы мне доверяете? Вот и подпишите». Она доверяла.

— Я знаю, — тихо говорит Ольга. — Я её видела. В холле. Она сидела за стойкой.

— Потом он начал работать с ней. Лично. Как с клиенткой, только даром. Он говорил ей, что у неё проблемы с мужем. Что муж её не ценит. Что она сама не умеет любить и поэтому её никто не любит. Год. Каждый день. По десять минут после работы. Знаете, что такое год по десять минут в день?

— Знаю, — говорит Ольга. — Двенадцать лет по десять минут в день.

Я поднимаю на неё глаза. Она стоит неподвижно, и папка у неё в руках опустилась чуть ниже, к животу.

— Муж от неё ушёл, — продолжаю я. — Костя. Хороший парень, механик, простой. Он не понимал, что с ней. Она перестала есть, перестала спать, плакала ночами и говорила, что сама всё разрушила. Он собрал вещи и ушёл к брату. Она звонила мне. Дважды. Первый раз в марте. Я был на открытии третьей студии, держал в руках ножницы для ленточки, и сказал ей: «Аля, перезвоню». Второй раз в мае. Я был в Казани, смотрел помещение, и сказал: «Аля, давай в выходные». В выходные я тоже не позвонил.

Ольга молчит.

— В ноябре мне позвонила мама. Сказала: «Приезжай к Але. Срочно». Я приехал. Аля сидела на полу в прихожей. Она весила сорок один килограмм. Она повторяла его слова, его, слово в слово, как попугай: «Эдуард Платонович говорит, я разучилась любить». Я сидел рядом с ней на полу и не знал, куда деть руки. Я, человек, держащий в голове цены на девятьсот позиций в пяти городах, не знал, куда деть руки рядом с собственной сестрой.

— Станислав.

— Я год не замечал. Год. Потому что был занят. Потому что открывал студии, считал деньги, покупал помещения. Потому что мне было удобно думать, что у Али просто дурной характер. — Я выпрямляюсь. — Вот почему у меня эта папка, Ольга. Вот почему я на вас женился. Я однажды не вмешался вовремя. Больше я так не сделаю.

— И поэтому вы не дадите мне её отнести.

— Я не могу вам запретить. Пункт шестой. Доступ у обоих.

— Тогда почему вы стоите между мной и дверью?

Я смотрю. Действительно, стою. Между ней и дверью. Сам не заметил, как встал.

— Привычка, — говорю я.

— Контроль.

— Да. Контроль. Отец бы гордился.

Она делает шаг ко мне. Ещё один. Останавливается в метре. Папка у груди, гранат на пальце поблёскивает в свете настольной лампы.

— Если я отдам папку, — говорит она медленно, — он может отдать мне Ваню. Может. Один шанс из ста. Если я не отдам, он точно не отдаст. Так скажите мне, Станислав Игоревич, как бизнесмен. Какой вариант выгоднее?

— Как бизнесмен я скажу вам: никогда не отдавайте товар до оплаты. Он возьмёт папку и рассмеётся вам в лицо. Записи сотрёт. Через месяц на заседании Зотов покажет судье ваш брачный договор и скажет: «Видите, она продала мужа за папку, а теперь хочет продать папку за сына. Эта женщина торгует всем».

Ольга вздрагивает.

— А как человек? — спрашивает она.

— Как человек... — Я замолкаю.

Как человек я не знаю, что сказать. Как человек я протягиваю руку и беру её за запястье. Левое, с гранатом. Пальцы у неё ледяные, как всегда. Я накрываю их ладонью. Здесь кабинет, ночь, лампа на столе и её рука в моей. Смотреть некому.

Она смотрит на наши руки.

— Это для вида? — шепчет она.

— Здесь некому смотреть.

— Тогда зачем?

— Не знаю. — Я провожу большим пальцем по её костяшкам, медленно, по одной. Кожа сухая, тонкая, пахнет акварелью и мылом. — У тебя холодные руки.

Она поднимает на меня глаза. «Тебя». Я сказал «тебя». Я слышу это, и она слышит, и мы оба молчим.

— У меня всегда холодные руки, — говорит она. Тоже шёпотом. — Ты знаешь.

«Ты».

Папка медленно опускается. Ольга кладёт её на край стола, не отпуская моей руки. Красный картон ложится на столешницу, между нами, на расстоянии ладони.

— Он скажет Ване, что я его продала, — шепчет она. — Он скажет, что мама выбрала деньги.

— Он скажет это в любом случае. Отдашь ты папку или нет. Он уже сказал. Сегодня, у школы. — Я сжимаю её пальцы. — Оля. Послушай. Ваня сегодня крикнул «хочу домой». Ты сама сказала: он не знает, где его дом. Значит, его дом ещё можно построить. Здесь. С синим пледом и твоим небом над столом. Но если ты сейчас поедешь к Эдуарду с этой папкой, Ваня узнает другое. Что мама сдаётся. Что любую маму можно сломать, если правильно надавить. Что папа всегда побеждает.

Её губы дрожат. Она опускает голову, и лоб её почти касается моей груди. Почти. Сантиметр. Я чувствую тепло её дыхания сквозь рубашку.

— Я так устала, Стас, — говорит она в этот сантиметр.

— Я знаю.

— Я год воюю одна.

— Ты больше не одна.

Она молчит. Я держу её руку. Часы в коридоре бьют двенадцать, тяжело, двенадцать раз, и на каждом ударе её пальцы чуть заметно вздрагивают в моей ладони.

На двенадцатом она поднимает голову.

— А шрам? — спрашивает она. — Сейчас ночь. Ты обещал.

— Не сегодня. Сегодня твоя ночь. Моя будет потом.

Она почти улыбается. Почти. Отпускает мою руку, берёт со стола красную папку, поворачивается к сейфу. Кладёт папку внутрь. Закрывает дверцу. Шесть писков, замок щёлкает.

Потом она оборачивается ко мне, и я говорю ей фразу, ради неё я и стоял у двери. Она крутилась у меня в голове с трёх часов дня, с той минуты, когда Паша привёз её белую, как стена.

— Если ты сдашься, он победит Ваню.

Глава 12

— Сорок вторую ты не слушала.

Стас говорит это, не отрываясь от ноутбука. Пятница, девять вечера, его кабинет. На столе две чашки с остывшим чаем, мой красный блокнот, наушники с длинным проводом и флешка, торчащая из порта. За окном лупит дождь со снегом.

— Слушала, — говорю я. — Начало.

— Сколько минут?

— Двадцать. Может, тридцать. Там четыре часа, Стас. Четыре часа приёмной. Шаги, телефон, кофемашина, кто-то кашляет. Тишина. Я засыпала на ней дважды.

— Гоша её почистил.

— Какой Гоша?

— Звукорежиссёр. Записывает мне рекламу для студий. Я отдал ему копию в среду, ночью, после... — Он запинается. — После разговора у сейфа. Он вытащил из четырёх часов всё, где звучат голоса. Получилось одиннадцать минут.

— И ты их слушал?

— Нет. Я ждал тебя.

— Почему?

— Потому что это твоя флешка. Твоя история. Мне кажется, слушать её первым в одиночку нечестно.

Он говорит «твоя», и я замечаю, как спокойно звучит у него это слово, обыденно, как «соль» или «хлеб».

— Ты боишься, — говорю я.

— Чего?

— Услышать там что-то про сестру.

Он долго смотрит в экран.

— Да, — говорит он наконец. — Боюсь. Гоша сказал: «Там есть женский голос, кроме администратора». Больше он ничего не сказал. Я не стал спрашивать.

— А если там она?

— Тогда я хочу, чтобы рядом был человек, умеющий заставить кого-нибудь назвать пять синих вещей.

Я сажусь рядом с ним. На подлокотник его кресла, потому что второго стула в кабинете нет. Он двигается, освобождая мне место, и наши бёдра соприкасаются через ткань. Он не отодвигается. Я тоже.

С ночи в среду мы говорим друг другу «ты». Само собой. За завтраком в четверг он сказал «передай соль», и я передала, и только потом поняла, что отчество из его речи пропало. А вечером я сказала «Стас, у тебя рубашка навыворот», и он посмотрел на рубашку, потом на меня, и улыбнулся. Улыбнулся по-настоящему. Я никогда не видела, как он улыбается. У него ямочка на левой щеке. Одна.

— Ты звонила сегодня? — спрашивает он. — Пятница.

— В семь. Эдуард ответил. Сказал, что Ваня делает уроки и не может отвлекаться. Что после среды у мальчика стресс. Что он, как психолог, рекомендует паузу в общении. На две недели.

— До заседания.

— До заседания.

Стас кладёт руку мне на колено. Просто кладёт. Ладонь тёплая, тяжёлая. Я смотрю на неё, на белые шрамы на костяшках, и не убираю.

— Две недели, — говорю я. — Он отнимет у меня две среды подряд.

— Он отнимет у тебя два звонка. Среды он отнять не может. Среды твои.

— Как это?

— Ты рисуешь по средам. Он не может запретить тебе рисовать. Нарисуешь два неба, и я повешу их рядом с первым. Когда Ваня приедет, их будет три.

— А если он не приедет?

— Тогда мы продолжим вешать. Стена большая.

— Включаю? — говорит он.

— Включай.

Он кликает. Из динамиков ноутбука шуршит. Шаги по плитке. Звонок телефона, далёкий, приглушённый. Голос девушки: «Центр „Гармония“, добрый день, слушаю вас» Я вздрагиваю.

— Это она, — говорю я. — Голос знакомый.

— Это другая, — говорит Стас. — Сменщица. У Али был второй администратор. Слушай дальше.

Фрагменты сменяют друг друга. Пожилой мужчина спрашивает, где туалет. Женщина плачет и просит воды. Курьер требует подпись. Минута, две, три. Я кручу на пальце гранат, и он стучит о край подлокотника. Стас кладёт свою руку поверх моей. Стук прекращается.

Седьмая минута. Скрип двери. Шаги, мужские, неторопливые, мягкие, с перекатом с пятки на носок. Я узнаю эти шаги. Двенадцать лет я слышала их в нашей прихожей.

— Алиночка, — говорит Эдуард из динамиков.

Стас замирает. Ладонь на моей руке становится каменной.

— Да, Эдуард Платонович. — Второй голос. Женский, тихий, чуть хриплый. Голос, звеневший в понедельник над наполеоном, пока мать Стаса рассказывала про его детство.

Аля.

— Ты закончила с журналом?

— Почти. Осталась среда.

— Брось среду. У меня к тебе дело. Деликатное. — Пауза. Звон чашки о блюдце. — Помнишь мою жену? Она приходила за мной в четверг.

— Ольгу Валерьевну? Помню. Она меня угостила мандарином.

Я закрываю глаза. Я помню этот мандарин. Холл центра, серая стойка, худенькая рыжая девочка с усталыми глазами. Я протянула ей мандарин из сумки, потому что вид у неё был голодный, с самого утра. Она покраснела и сказала «спасибо».

Я её помнила. Все эти недели. Просто не знала, что это она.

— Мне нужно, чтобы ты подготовила папку, — говорит Эдуард. — На Ольгу Валерьевну. Пока просто папку. Пустую. Заведи карточку клиента. Укажи дату первого обращения. Прошлый сентябрь.

— Но она не обращалась, Эдуард Платонович. Она просто приходила за вами.

— Алиночка. — Голос Эдуарда становится мягче. Ещё мягче. Таким мягким он становился со мной, когда я собиралась возразить. — Ты мне доверяешь?

Тишина. Долгая. Шуршит бумага.

— Доверяю.

— Вот и умница. Я же не прошу тебя ничего придумывать. Я прошу завести карточку. Это формальность. Просто на будущее. Видишь ли, у нас с женой... непростой период. Я боюсь, что однажды мне придётся защищать сына. От неё. Понимаешь?

— От Ольги Валерьевны? Она же... Она мне показалась хорошей.

— Тебе многие кажутся хорошими, Алиночка. Это твоя слабость. Мы с тобой над этим работаем. — Звон ложки. — Ольга Валерьевна нестабильна. Она забывает выключить плиту. Она плачет по ночам. Она проверяет замки по пять раз. Мне нужна некомпетентная мать.

Документально. Через год, через два. Когда понадобится. Пусть лежит. Подпиши вот здесь, как администратор приёма.

Тишина.

— Где подписать? — спрашивает Аля.

— Вот здесь. И здесь. Умница.

Шорох ручки по бумаге. Шаги. Скрип двери. И снова тишина, долгая, только гудит кофемашина и где-то далеко звонит телефон.

Стас нажимает на паузу.

Я не дышу. Смотрю на экран, на застывшую звуковую дорожку, на ровную зелёную линию тишины. «Прошлый сентябрь». Я ушла от него полтора года назад. Он готовил это за полтора года до моего ухода. Он заводил на меня карточку, когда я ещё варила ему борщ и гладила рубашки. Когда я ещё целовала его в прихожей перед работой.

«Она проверяет замки по пять раз».

Я никогда не проверяла замки по пять раз. Плиту — да. Плиту я начала проверять потом. Через полгода. Когда он стал говорить мне, что я забываю её выключить. Каждый вечер. Мягко. Заботливо. «Оленька, плита опять горела. Ты устала. Я же для твоей пользы говорю».

Он сначала написал это на бумаге. Потом сделал это со мной.

— Какая дата? — спрашиваю я. Голос чужой, сиплый. — Дата записи. В свойствах файла.

Стас кликает правой кнопкой. Свойства. Дата создания.

Третье октября. Три года назад.

— За месяц, — говорит он. Очень тихо. — За месяц до того, как я нашёл её на полу в прихожей.

Он встаёт. Моя рука соскальзывает с его колена. Он отходит к окну, стоит спиной ко мне, смотрит на дождь со снегом, и плечи у него под тонким свитером напряжены так, что видна каждая мышца.

— Стас.

Он не оборачивается.

— Стас, она не понимала. Ты слышал её голос. Она спросила: «Она же хорошая?» Он её задавил. Он делал с ней то же, что со мной. «Ты мне доверяешь». «Это твоя слабость». «Мы над этим работаем». Это его слова, Стас. Слово в слово. Я их знаю.

— Она подписала.

— Она подписала, потому что...

— Она подписала документ, по нему моя жена потеряла сына.

«Моя жена». Он говорит это в стекло, в темноту, и мне кажется, он сам не слышит, что сказал.

— Этот документ мог ничего не значить, — говорю я. — Карточка клиента. Пустая. Суд опирался на фотографии.

— А фотографии откуда? Кто их снимал, кто их заказывал, кто отвозил в суд? Ты знаешь? Я не знаю. Аля знает? — Он оборачивается. Лицо у него серое, как дождь за окном, и только глаза тёмные, страшные. — Она три года живёт у матери. Три года я хожу к ней по воскресеньям, ем мамин борщ и говорю ей: «Аля, ты ни в чём не виновата». Три года.

— Она и правда...

— Ты знала?

Он смотрит на меня. Прямо. После ночи у сейфа, после его руки на моём колене, после его «тебя» и ямочки на левой щеке соврать ему я уже не могу.

— Я знала, что она меня помнит, — говорю я. — Она сказала мне в среду, на кухне. Что помнит. Что знает про папку. Что Эдуард ей звонил. Она просила тебе не говорить. Она тебя боится, Стас. Боится, что ты её возненавидишь.

— А ты молчала.

— Я обещала.

— Ты обещала ей. А мне?

— А тебе я ничего не обещала, кроме Вани. — Я встаю с подлокотника. Колени дрожат. — Ты сам сказал: «Если Аля просила молчать, молчи». Ты сам это сказал. Позавчера. У сейфа.

Он долго смотрит на меня. Потом отворачивается. Подходит к столу, берёт с него телефон, крутит в пальцах. Набирает номер. Подносит к уху. Опускает. Сбрасывает, не дождавшись гудка.

— Не сейчас, — говорит он сам себе. — Не ночью. Она ночью...

Он не договаривает. Кладёт телефон экраном вниз. Садится в кресло. Упирается локтями в колени, опускает лицо в ладони. Я стою рядом и смотрю на его затылок, на седину у висков, на его руки, белые шрамы на пальцах, прижатых к лицу.

Я кладу ладонь ему на плечо. Он вздрагивает. Но не сбрасывает её.

— Что будешь делать? — спрашиваю я шёпотом.

Он поднимает голову. Смотрит на экран ноутбука, на зелёную линию звуковой дорожки, застывшую на седьмой минуте. На ней пик, высокий, острый. Голос его сестры.

— Алина была там, — говорит он. И голос у него совсем пустой. — Она знала.

Глава 13

— Стас дома?

Алина стоит за калиткой под дождём. Семь сорок утра, суббота. Капюшон бежевого пальто сполз на затылок, рыжие волосы прилипли ко лбу, в руках зонт, сложенный и мокрый. Она его так и не раскрыла.

— Уехал на рынок, — говорю я в домофон. — Он по субботам сам выбирает рыбу. Вернётся к девяти.

— Я знаю. Поэтому и пришла сейчас.

Я открываю калитку. Она идёт по дорожке к крыльцу медленно, глядя под ноги, и на каждой плитке я мысленно ставлю цифру. Девятнадцать плиток от калитки до ступенек. Она останавливается на последней.

— Можно войти?

— Вы мокрая насквозь. Входите.

В прихожей она снимает пальто и держит его в руках, как в прошлый раз. Я забираю пальто и вешаю на крючок рядом с ключами. Алина смотрит на крючок с ключами, на синий брелок.

— Ваш, — говорит она. — Синий.

— Мой.

— У Стаса раньше никогда не висело чужих ключей. Даже мамины он держит в ящике, в коробочке, с бирочкой «мама».

— Чай будете? С чабрецом.

Алина кривится, по-детски, сморщив нос.

— Давайте чабрец. Мне сейчас полезно что-нибудь противное.

На кухне я ставлю чайник. Она садится на тот же стул, где сидела в прошлую среду, кладёт ладони на скатерть. Смотрит на свои пальцы.

— Он вам сказал? — спрашивает она.

— Про что?

— Про запись. Сорок вторую. Он вчера позвонил маме в одиннадцать вечера и спросил, сплю ли я. Мама сказала

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.